М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность

Александр Михайлович Скабичевский

SHOUT
SHARE
IT

- А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ГЛАВА X
  - ГЛАВА XI
  - ГЛАВА XII
  - ГЛАВА XIII
  - ГЛАВА XIV
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Биографический очерк

ГЛАВА I

Рождение и детские годы Лермонтова. Поездка на Кавказ.

Бабушка Лермонтова по женской линии, под крылом которой он провел все свое детство, Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, а по мужу Арсеньева, была из старинного дворянского рода и представляла собою типическую личность помещицы старого закала вроде Татьяны Марковны Бережковой в «Обрыве» Гончарова: она была высока, стройна, со строгими, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли всех окружающих ее. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и не стеснялась высказывать в глаза правду, хотя бы самую горькую. Прямой, решительный характер, привычка повелевать, доходившая порою до сурового деспотизма, были причиною, что товарищи Лермонтова по юнкерской школе прозвали ее Марфой Посадницей; в обширном же круге ее родства и свойства ее называли просто «бабушка».

Муж Елизаветы Алексеевны, Михаил Васильевич Арсеньев, умер совершенно неожиданно от удара, в самую веселую минуту, на святках, будучи в костюме могильщика из шекспировского «Гамлета», и она осталась вдовой с единственною пятнадцатилетнею дочкой Марьей. Это было крайне болезненное, хрупкое, эфемерное создание; тем не менее у нее нашелся жених, в которого она была страстно влюблена, — Юрий Петрович Лермонтов, живший с сестрами в своем имении Кроптовка Тульской губернии Ефремовского уезда, по соседству с родственниками Елизаветы Алексеевны, Арсеньевыми. Он происходил от древней шотландской фамилии, переселившейся в Россию в XVI веке, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, и средства оскудели. Сам Юрий Петрович, получив воспитание в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, потом служил в нем, но принужден был выйти в отставку в 1811 году, с чином капитана, так как пять сестер его, проживавших в Кроптовке, не могли одни справиться с хозяйством.

При таких условиях Юрий Петрович не представлялся блестящей партией для дочери в глазах Елизаветы Алексеевны, и как сама она, так и вся богатая ее родня смотрели неблагосклонно на брак Марьи Михайловны с бедным отставным армейским офицером. Тем не менее, брак состоялся. Юрию

Петровичу было предоставлено управление имениями тещи, селом Тарханы и деревнею Михайловское Пензенской губернии; он и распоряжался этими имениями до смерти жены полным хозяином.

Когда молодая почувствовала себя беременною, она отправилась с мужем и матерью из Тархан в Москву, и здесь, в доме на Садовой близ Красных ворот, со 2 на 3 октября 1814 года у нее родился сын Михаил. Малютка и мать были окружены всевозможными заботами; из Тархан заранее были высланы две мамки, из которых была выбрана Лукерья Алексеевна, долго потом жившая на хлебах в Тарханах: Лермонтов уже взрослым не раз навещал ее и привозил ей подарки. Из Москвы Лермонтовы вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение.

Мир, любовь и согласие недолго царствовали в семье Лермонтовых. Трудно в точности определить, что было главною причиною семейного разлада. Юрий Петрович, красавец, блондин, сильно нравившийся женщинам, привлекательный в обществе, веселый собеседник, «bon vivant» по выражению воспитателя Лермонтова Зиновьева, в то же время вспыльчивый до самодурства и грубых, диких проявлений, совершенно выходящих из пределов приличий, тем не менее был человек добрый, мягкий, и крепостные люди отзывались о нем как о барине «очень добром».

Неизвестно, женился ли он на Марье Михайловне по любви или по одному расчету; опостылела ли она ему вследствие своей крайней болезненности и нервности, или же недоброжелательство тещи и ее властное вмешательство во все семейные дела были причиною его охлаждения, — но только у Юрия Петровича объявилась вскоре новая связь. «Старожилы, — читаем мы в биографии Лермонтова г-на Висковатова, — рассказывают, что между супругами Лермонтовыми вышли недобрые столкновения из-за проживавшей у Юрия Петровича особы и что разгневанный Юрий Петрович весьма грубо обошелся с женою. Факт этого грубого обращения был последнею каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкою в Тарханах».

Слабая и болезненная от природы Марья Михайловна совсем была подкошена охлаждением мужа и ссорою с ним. «Она стала хворать, — читаем мы в биографии г-на Висковатова, — в Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского

двора к другому, с утешением и помощью; помнили, как возилась она и с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головою. Посадив ребенка себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно; звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику».

Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика; как сквозь сон грезилась она ему потом. В детстве звуки песни, петой ему матерью, всегда доводили его до слез; позже он не мог уже вспомнить слов ее, но утверждал, что, если бы услыхал эту песню, она произвела бы на него прежнее действие.

День ото дня таяла убитая горем женщина. Пока она держалась на ногах, люди видели, как она бродит по комнатам господского дома с заложенными назад руками. Трудно ей было напевать обычную песню над колыбелью Миши. Наконец она слегла в злейшей чахотке. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать; он прибыл с доктором, но спасти больную было уже нельзя, и она скончалась на другой день по приезде мужа.

Что произошло между Юрием Петровичем и тещею, неизвестно, но он по смерти жены пробыл в Тарханах всего девять дней и затем уехал к себе в Кроптовку, оставив трехлетнего сына на попечении бабушки.

Со смертью дочери вся любовь Елизаветы Алексеевны сосредоточилась на внуке; она не расставалась с ним ни днем, ни ночью, — он и спал в ее комнате; наблюдала за каждым шагом его. Малейшее его нездоровье приводило ее в крайнюю тревогу и было таким событием в доме, что даже дворовые девушки освобождались от работы и должны были молиться об исцелении молодого барина. А здоровье мальчика действительно могло внушать опасения: очевидно, он от матери наследовал крайнее худосочие, был ребенок и золотушный, и рахитичный, вечно покрытый то сыпью, то мокрыми струпьями, так что рубашка прилипала к его телу. Кривизна ног, составлявшая впоследствии источник сокрушений Лермонтова при его претензии на роль женского сердцееда и приравнивавшая его несколько в этом отношении к колченогому Байрону, была прямым следствием английской болезни.

Суровая и строгая ко всем окружающим, бабушка к одному внучку выказывала бесконечную нежность и доброту, беспрекословно исполняя все его прихоти, ни в чем ему не отказывая и ничего для него не жалея. Все ходило кругом да около Миши; все должны были угождать ему, забавлять его. Зимою устраивалась гора, на ней катали Мишу, и вся дворня, собравшись, потешала его. На Святки каждый вечер приходили в

барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли кто во что горазд, нарочно для этого освобождаясь от урочных работ; на Святой мальчика забавляли катаньем яиц.

Нельзя сказать, что положение всеобщего баловня благотворно отражалось на характере ребенка. Оно развивало в нем деспотические наклонности, необузданное своеволие, привычку ни в чем себе не отказывать, не терпеть ни малейшего отпора своим прихотям и капризам и даже некоторую жестокость. Так, во втором отрывке из неоконченной повести Лермонтов, описывая детство Саши Арбенина и подразумевая в нем до некоторой степени самого себя, изображает своего героя «преизбалованным и пресвоевольным ребенком»… «Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем, природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу». Нет сомнения, что теми тяжелыми, антипатичными чертами характера, которыми впоследствии отличался Лермонтов, он был обязан именно этой вредной системе воспитания, весьма заурядной в дворянских, помещичьих семьях того времени.

Но были в детстве Лермонтова и добрые влияния, до известной степени парализовавшие дурные наклонности и смягчившие его душу. Так, со дня рождения к нему была приставлена бонна-немка, Христина Осиповна Ремер, безотлучно находившаяся при нем. Это была, по словам биографа Лермонтова г-на Висковатова, женщина строгих правил, религиозная. Она внушила своему питомцу чувство любви к ближним, не исключая и крепостных. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христина Осиповна, стыдила ребенка и заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтила эту женщину; для мальчика же ее влияние было как нельзя более благодетельно. Вторым смягчающим обстоятельством была болезненность мальчика. Сам Лермонтов говорит о себе в той же повести, описывая того же Сашу Арбенина, что «Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь — болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении; он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если б не получил от природы железного телосложения, то, верно,

отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а, между тем, он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привык побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».

Мечтательность мальчика была еще более развита немецкими сказками и легендами, которые ему рассказывала Христина Осиповна. Русских сказок почему-то он не слышал в детстве, если судить по тому сожалению об этом, которое он впоследствии высказал в одной из своих записных тетрадей (1830 год): «Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Но очень странно, как это могло случиться с русским дворянским мальчиком, окруженным дворнею; и к тому же сам Лермонтов, по-видимому, противоречит себе, говоря все о том же Саше Арбенине: «Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. Саше было с ними весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, *рассказывали ему сказки про волжских разбойников,* и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно в его детскую кроватку»… «Когда я был мал, — говорит Лермонтов в той же своей записной тетради 1830 года, — я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства».

Когда Лермонтов вступил в отроческий возраст, были набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и Миша занимался с ними военными экзерциями, играми в войну и разбойников. Кроме дворовых сверстников друзьями детства его были также жившие по соседству в усадьбе Апалиха родственники, дети племянницы

бабушки Марьи Акимовны Шан-Гирей — дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях.

«У бабушки, — говорит этот самый А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях о Лермонтове („Русское обозрение“, 1890, № 8), — было три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь, зимой — немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; потом с сердечным замиранием смотрели, как православный люд стена на стену (тогда еще не было запрету) сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде…»

Когда мальчику было 11 лет, в 1825 году, бабушка, беспокоясь о его слабом здоровье, повезла его на Кавказ. Поехали многочисленным обществом: с ними были и кузины Столыпины, и родственник Пожогин, и доктор Ансельм Левис, и гувернер-дядька, monsieur Капе. В начале лета приехали в Пятигорск. Впечатлительный, мечтательный, нервный ребенок с чрезмерно развитым воображением был так сильно потрясен кавказскою природою, что потом на всю жизнь глубоко остались в нем эти первые детские впечатления Кавказа, любимого поэтом до гроба.

В то же время, потрясенное красотами Кавказа отроческое сердце Лермонтова впервые забилось тогда недетскою страстью. Вот как он сам описывает эту свою первую, столь преждевременную страсть:

«Кто мне поверит, что я знал любовь, имея десять лет от роду? — Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкою лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее, это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не

объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда? и поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованью, это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — нет, с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в этот раз. Горы кавказские для меня священны… И так рано! С десяти лет. Эта загадка, этот потерянный рай — до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно — и я готов смеяться над этой страстью, но чаще — плакать. Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить священные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Предвидение, что до могилы будет терзать ум поэта эта детская первая страсть, не было одною экзальтацией. Действительно, образ девушки не оставлял поэта — и когда с Кавказа он вернулся с бабушкою в Тарханы, и пять лет спустя, как мы можем судить об этом по приведенной выписке из его записной тетради 1830 года, и, наконец, за полтора года до смерти (см. стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен…»).

ГЛАВА II

Воспитание Лермонтова. — Поступление в Московский благородный пансион. — Первые поэтические опыты.

Поездка на Кавказ ради укрепления здоровья мальчика была предпринята, конечно, потому, что наступали годы, когда надо было подумать о более серьезном образовании Миши. В умственном отношении к десятилетнему возрасту, он был совсем уже почти готов к этому. Ничего не жалевшая для внука бабушка тратила на его воспитание до пяти тысяч рублей, и когда отец его изъявлял желание взять сына к себе, она указывала ему на эту сумму, которую он не в состоянии был бы тратить на сына. Более всего, по общедворянскому обычаю того времени, обращалось внимание на языки. В то время как знакомая уже нам Христина Осиповна обучала Мишу с пеленок немецкому, для других языков нанимались гувернеры. Так, первый гувернер Капе был полковник наполеоновской армии, взятый в плен в 1812 году и оставшийся в России. Миша более всех гувернеров любил его, особенно за его восторженные рассказы о Наполеоне, о всех его войнах и сражениях, между прочим и о Бородинском сражении. По смерти Капе поступил в гувернеры еврей Левис, знакомивший питомца с немецкою словесностью. Он не ужился и должен был уступить место проживавшему в России со времен первой французской революции эмигранту Жандро. Последний сумел понравиться избалованному питомцу, особенно же бабушке и ее московским родственницам, безукоризненностью манер и любезностью обращения старой версальской школы. Пробыв в доме Лермонтовых около двух лет и желая овладеть воспитанником, он стал мало-помалу открывать ему «науку жизни». Без сомнения, Лермонтов в поэме «Сашка» изображает Жандро под видом парижского Адониса, сына погибшего маркиза, пришедшего в Россию «поощрять науки». Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ «про сборища народные, про шумный напор страстей и про последний час венчанного страдальца»…

Из рассказов этих Лермонтов почерпнул свою нелюбовь к парижской черни и симпатию к невинным жертвам, из которых на первом плане стоял, конечно, Андре Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило бабушку ему отказать, после чего в дом был принят гувернером англичанин Винсон, бывший гувернер в доме графа Уварова.

Винсон оставался у Арсеньевой несколько лет; им очень дорожили, платили три тысячи рублей и поместили с русской женой и детьми в особом флигеле. От него Миша приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром.

Не забыли и об эстетическом развитии мальчика. Он был обучен игре на фортепиано и на скрипке, отлично рисовал, лепил из крашеного воска целые сценки, вроде охоты за зайцами с борзыми, перехода через Граник и сражения при Арбелах со слонами и колесницами, украшенными стеклярусом и косами из фольги. В то же время одной из любимых забав ему служил театр марионеток. Так, мы видим, что в письме из Москвы он просит тетку выслать ему воску, потому что и в Москве он «делает театр, который довольно хорошо выходит и где будут играть восковые фигуры». А. П. Шан-Гирей хорошо помнил эти куклы с вылепленными Лермонтовым головами. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком-поэтом, носившая название «Berquin» и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Лермонтов, заимствуя сюжеты или из слышанного, или из прочитанного.

Наконец в 1828 году бабушка повезла Лермонтова в Москву, с целью определить его в Благородный университетский пансион. В пансионе существовал обычай, что каждый ученик отдавался на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся родителям. Родственники бабушки, Мещериновы, рекомендовали Алексея Зиновьевича Зиновьева, занимавшего в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Зиновьев приготовлял мальчика к вступительному экзамену, и затем, по принятому выражению, Лермонтов оставался «клиентом» Зиновьева во всю бытность свою в пансионе.

Поступив в 4-й или 5-й класс полупансионером, то есть с правом ночевать дома, Лермонтов учился блистательно, был вторым учеником. «Как теперь смотрю на милого моего питомца, — рассказывает Зиновьев в своих воспоминаниях о нем, — отличившегося на пансионном акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского „К морю“ и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз в особенности за сочинение на русском языке».

По традиции, сохранявшейся со времени Новикова, в пансионе особенно процветали между воспитанниками занятия литературою. Воспитанники собирались на общее чтение, издавался рукописный журнал, в котором многие из них

принимали участие. Лермонтов, уж конечно, являлся деятельным сотрудником школьного журнала. Им тогда уже писались стихотворения, на которые было обращено внимание учителей. Так, он показывал свои переводы из Шиллера, любимому же своему учителю Александру Степановичу Солоницкому подарил тщательно переписанную тетрадку своих стихотворений. Особенно поощрял занятия литературою инспектор пансиона, известный московский профессор Михаил Григорьевич Павлов. Он предполагал даже собрать лучшие из опытов воспитанников и издать в виде альманаха. Намерение это осталось невыполненным, но Лермонтов в 1829 году, в письме в Апалиху к тетке своей Екатерине Алексеевне, с восторгом говорил о нем: «Инспектор хочет издавать журнал Каллиопу (подражая мне), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется: Павлов мне подражает, перенимает у… меня!.. Стало быть… стало быть… Но выводите заключения, какие вам угодно».

Кроме Павлова большое влияние на воспитанников имел учитель словесности в старших классах, известный поэт (автор песни «Среди долины ровныя») Алексей Федорович Мерзляков. Он отличался живою беседой при критических разборах русских писателей и прекрасно читал стихи и прозу. Он тем более должен был оказать большое влияние на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом бабушки. О влиянии этом можно судить по тому, что когда Лермонтов был арестован по поводу стихотворения своего на смерть Пушкина, бабушка воскликнула: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел меня!»

К эпохе поступления в Благородный пансион относятся и первые проявления творчества Лермонтова. Оставшиеся после Лермонтова записные тетради, которым г-н Висковатов совершенно справедливо придает важное биографическое значение, показывают нам, с какою органическою постепенностью развивался поэтический талант Лермонтова и как, даже в своих первоначальных детских подражаниях, он оставался уже верен характеру будущей своей поэзии и если брал чужое, то лишь то, что соответствовало этому характеру, было ему сродни. Так, первоначально он ограничивался лишь тем, что переписывал те произведения любимых авторов, какие ему наиболее нравились. Такими любимыми авторами, впервые пробудившими в мальчике его поэтический гений, конечно, были Жуковский и Пушкин. Но из Пушкина он переписал не что иное, как «Бахчисарайский фонтан», из Жуковского — «Шильонский узник». Последнее произведение — перевод поэмы Байрона; первое написано в байроновском стиле. Затем поэма Пушкина «Кавказский

пленник», пробудившая в мальчике личные воспоминания о Кавказе и, тем более, очаровавшая его, побудила его уже не к одной переписке, а к подражаниям. Первым таким подражанием является поэма «Черкесы». Лермонтов писал ее в 1828 году, когда ему не было еще и 14 лет, в городе Чембаре, находящемся в 12 верстах от Тархан, за дубом, с которым связывалось дорогое для мальчика воспоминание. По крайней мере, рукою поэта на заглавном листе переписанной им начисто поэмы помечено: «В Чембаре, за дубом». Здесь вы находите целые стихи, взятые из поэмы Пушкина. Вторым подражанием поэме Пушкина является «Кавказский пленник», поэма, написанная им тоже в 1828 году, но уже в Москве. «Шильонский узник», в свою очередь, не остался без подражания, и к тому же 1828 году относится поэма Лермонтова «Корсар», начинающаяся почти теми же словами:

Друзья, взгляните на меня!
Я бледен, худ, потухла радость

К тому же периоду, то есть к четырнадцати годам, относит начало поэтической деятельности Лермонтова и Шан-Гирей в своих воспоминаниях. «Тут, — говорит он, — я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля — Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К*** (три звездочки); меня ужасно интриговало, что значит слово *стансы* и зачем три звездочки? Однако ж я промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма „Индианка“ и начал издаваться рукописный журнал „Утренняя Заря“, на манер „Наблюдателя“ или „Телеграфа“, как следует, с стихотворениями и изящною словесностью; журнала этого вышло несколько номеров…»

От Жуковского был один шаг до Шиллера, с которым Лермонтову тем легче было познакомиться в подлиннике, что он знал немецкий язык. И здесь он начал переводами («К Нине», «Встреча», «Перчатка», сцены трех ведьм из переделанного Шиллером шекспировского «Макбета» и пр.), а затем увлекся драмами Шиллера, особенно «Разбойниками» и «Коварством и любовью», тем более что эти драмы около того времени давались в Москве с участием Мочалова, и Лермонтов видел их на сцене. Это увлечение было так сильно, что затем все, что ни замышлял Лермонтов под впечатлением от различного чтения, принимало драматическую форму. Прочитывал он «Аталу» Шатобриана, и в тетрадях являлась заметка: «Сюжет трагедии. — В Америке. — Дикие, угнетаемые испанцами. — Из романа французского

Атала». Знакомился ли он с русской историей, сейчас же являлся драматический сюжет — «Мстислав черный». Читал «Жизнеописание Мария» Плутарха, — задумывал трагедию «Марий», оканчивающуюся смертью Мария и самоубийством его сына. Затем в той же тетради говорит он о желании написать трагедию «Нерон».

Но все эти замыслы оставались без исполнения, по всей вероятности потому, что были не под силу 15-летнему мальчику, так как требовали знания нравов, жизни, этнографии, истории. Наконец воображение юноши остановилось на Испании. «Ни одна страна, — по справедливому замечанию г-на Висковатова, — не могла представить данных, более удобных для составления драм. Тут, казалось, и не требовалось особого изучения нравов и жизни. Молодой фантазии услужливо представлялись гордый своими предками, закоренелый в сословных предрассудках кастилец, инквизитор, иезуит, невинный убийца, преследуемый жид. Тут убийства, кровь, зарево костров и благородная отвага, луна, любовь и балкон, с ангелом на балконе и с певцом под ним». К тому же существовало предание, что род Лермонтовых происходил от испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами бежал из Испании в Шотландию. С этим преданием носился в то время Лермонтов, утешаясь им, когда окружающие его люди пренебрежительно отзывались о его отце как о незнатном и бедном армейском офицере. Долгое время он и подписывался под письмами и стихотворениями «Лерма».

Это увлечение Испанией, проявившись, между прочим, и в относящемся к 1830 году первом наброске «Демона», в котором действие происходит в Испании, наиболее выразилось в трагедии «Испанцы». В драме этой сказывается влияние не только «Разбойников» и «Коварства и любви» Шиллера, но и «Натана Мудрого» Лессинга; влияние это наиболее ощутимо в образах старого еврея, его дочки Ноэми и старухи Сарры, напоминающих семью Натана. Как у Лессинга, в «Испанцах» герой оказывается братом Ноэми, сначала относится с брезгливостью и презрением к «жиду», а затем склоняется перед мудростью отца и добродетелью дочери.

Вслед за «Испанцами» Лермонтов написал еще две драмы, именно «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») и «Странный человек», но чтобы понять значение этих драм, имеющих особенный автобиографический интерес, следует познакомиться нам с той страшной и мучительной драмой, которую в это время пережил Лермонтов в самой жизни, — драмой, которая, по общему мнению всех биографов, наложила глубокую печать на всю его судьбу, обусловив и болезненную

нервность его характера, и мрачность его произведений. К этой драме мы теперь и обратимся.

ГЛАВА III

Борьба бабушки с отцом Лермонтова, и как эта борьба отразилась на всей жизни поэта.

Драма заключалась в той ожесточенной борьбе, которую вела бабушка с отцом поэта Юрием Петровичем из-за внука, и в той страдательной роли, какую пришлось юноше играть в этой борьбе своих родных. Мы видели уже выше, что когда умерла мать Лермонтова, отец недолго оставался в усадьбе тещи; неизвестно, что было между ними, но он скоро уехал, оставив сына на попечении бабушки лишь временно, пока мальчику нужен был женский присмотр. Но он не отказался совсем от своего сына, чувствуя к нему живую привязанность. Разлука с ним терзала его, и он начал приезжать порою в Тарханы, чтобы видеть сына и следить за его воспитанием. Но каждый раз, когда он приезжал, он встречал самый недоброжелательный прием со стороны бабушки и всех богатых и знатных родных ее, выказывавших не только пренебрежение к его незнатности и бедности, но и страх, как бы не заявил он свои права на сына. Страстно привязавшаяся к внуку бабушка постоянно трепетала за потерю его. Ей представлялось, что вот-вот нагрянет отец и увезет Мишу. Поэтому мальчика берегли и хранили очень строго. Когда Юрий Петрович приезжал навестить сына, тотчас же посылали на почтовых за Афанасием Алексеевичем Столыпиным в Саратовскую губернию, звать его на помощь для защиты, на случай похищения. Впечатлительный, вспыльчивый Юрий Петрович не мог хладнокровно выносить такое отношение к нему и, выходя из себя, позволял себе выходки, которые еще более увеличивали взаимные недоверие и неприязнь; к тому же и наговоры, нашептыванья и застращиванья услужливых родственников подливали масла в огонь. Первоначально Юрию Петровичу было обещано, что он будет продолжать владеть имением, оставшимся после жены, и сделается опекуном своего сына, которому должно достаться это имение. И вот родственнички нашептали ему, что бабушка хочет отнять у него имение, а бабушке, — что Юрий Петрович уступил ей сына только временно, пока не заберет денежки в руки, а там Мишу и возьмет, — значит, силу из рук нельзя выпускать. Бабушка решила, что Юрий Петрович действиями своими утратил право на данное ему обещание, и объявила, что, если Юрий Петрович возьмет сына, она лишит его наследства.

Юрий Петрович, сообразив, что воспитать ему сына не на что и что, если заупрямится, он сделает его нищим, победил в себе гордость обиженного человека, смирился, затаил злобу и для блага сына согласился оставить его у бабушки до 16 лет, сохранив за собою лишь право следить за его воспитанием и принимать участие в решении связанных с этим вопросов. Конечно, в первые годы, пока сын жил с бабушкой в Пензенской губернии, а Юрий Петрович в Тульской, условия эти были невыполнимы. Но когда Мишу повезли в Москву, отец начал наведываться чаще. По рассказам Зиновьева, он наезжал в Москву из Кроптовки с двумя незамужними сестрами, Натальей и Александрой, останавливался с ними на особой квартире, и сын навещал его, особенно же часто проводил у него праздничные дни. Воспитатели, может быть под влиянием бабушки, говорили, что отец баловал сына и имел на него дурное влияние. Сын же очень был привязан к отцу. От чуткого, восприимчивого мальчика, столь быстро и преждевременно развивавшегося, не мог укрыться семейный разлад, и не могло не поразить его болезненно резкое различие между гордою, богатою бабушкой и бедным, захудалым отцом, на которого все смотрели с таким высокомерным презрением. Доброе, отзывчивое сердце мальчика инстинктивно потянулось к обижаемому и пренебрегаемому старику, а позже заговорила в нем и гордость, заставившая его, нарочно с целью возвысить отца в глазах родных, превозноситься древностью рода Лермонтовых, выводя его не только из Шотландии, но и из Испании. Как сильно любил мальчик отца, мы видим из письма его к тетке в Апалиху, в котором он, между прочим, пишет: «Папенька сюда приехал, и вот уже две картины извлечены из моего портфеля; слава Богу, что такими любезными мне руками».

Но вот, наконец, пошел Лермонтову шестнадцатый год. Срок, на который Юрий Петрович оставил мальчика у бабушки, приходил к концу, и он мог потребовать сына обратно. Начались переговоры. В это время университетский пансион был превращен в гимназию. Многие поспешили взять из него детей своих. Лермонтов, бывший уже в старшем отделении высшего класса, тоже послал прошение об увольнении и получил его 16 апреля 1830 года. Речь зашла о том, где ему продолжать воспитание. Думая везти его за границу, бабушка мечтала о Франции, а отец о Германии.

Чем более приближался роковой для бабушки срок, тем более обострялось взаимное нерасположение тещи и зятя. В Юрии Петровиче прорывалась накопившаяся годами злоба и желание вознаградить себя за долгую разлуку с сыном; бабушка вся

преисполнилась трепета от возможности потерять самое дорогое в жизни. Борьба эта всецело обрушилась на 16-летнего мальчика, находившегося как раз в таком переходном возрасте от отрочества к юношеству, когда нервы бывают особенно чувствительны и раздражительны, и ему пришлось выдержать страшную нравственную пытку, когда два любимых им существа начали положительно разрывать его на части, так как каждый старался перетянуть его на свою сторону.

Лермонтова еще более потянуло к отцу, и он совершенно охладел в это время к бабушке, — до такой степени, что в трагедии «Люди и страсти», изобразив всю эту пережитую им драму, он обрисовал свою бабушку самыми мрачными красками, а отца, напротив, в идеальном свете. От бабушки не могло укрыться это охлаждение, и, ревнуя внука своего к отцу, глубоко огорченная, она жаловалась своей поверенной: «Все там сидит, сюда и не заглянет! Экой какой он сделался!.. Бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, как мал был. И напрасно я его удаляла от отца, — таки умели его уверить, что я отняла у отца материнское имение, как будто не ему же это имение достанется… Кто станет покоить мою старость? И я ли жалела что-нибудь для его воспитания? Носила сама Бог знает что, готова была от чая отказаться, а по четыре тысячи платила в год учителю… И все пошло не впрок… Уж, кажется, не всяким ли манером старалась сберечься от нынешней беды… Ах, кабы дочь моя была жива, не то бы на миру делалось…»

Наконец вопрос для Лермонтова, по словам биографа Висковатова, был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом, но тут-то и началась самая тонкая интрига приближенных, с одной стороны, бабушки, с другой, — отца. Бабушка упрекала внука в неблагодарности, угрожала лишить наследства, описывала отца самыми черными красками и, наконец, сама под бременем горя сломилась. Ее слезы и скорбь сделали то, что не могли сделать упреки и угрозы, — вызвали глубокую жалость в чувствительном сердце юноши. Его стала терзать мысль, что, покидая старуху, он отнимает у нее опору последних дней, платит ей черною неблагодарностью за всю ее любовь, жертвы и попечения, приближая ее в несколько дней к могиле. Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу за ее высокомерное пренебрежение и все нанесенные ему оскорбления, сетует в свою очередь на сына, что тот его хочет покинуть и остаться у бабушки. Неизвестно, что произошло между всеми лицами этой драмы, но, в конце концов, победительницею осталась опять бабушка. Юрий Петрович уехал

один и вскоре умер в разлуке с сыном. Г-н Висковатов слышал, будто смерть Юрия Петровича произошла в Москве, и сын был на его похоронах. Он высказывает при этом предположение, что стихотворение «Эпитафия», находящееся в черновой тетради 1830 года, относится к отцу поэта. Г-н Висковатов предполагает также, что разыгравшаяся в семье катастрофа чуть не довела Лермонтова до самоубийства, на том основании, что мысль о самоубийстве часто встречается в лирических стихотворениях этого времени, в записанных сюжетах для драм и обе драмы его — «Люди и страсти» и «Странный человек» — кончаются самоубийством героя.

Когда прошло некоторое время, и острая боль улеглась, привязанность к бабушке снова возросла. По всей вероятности, и бабушка со своей стороны употребляла все усилия, чтобы снова привлечь к себе сердце внука, а к отцу охладить. По крайней мере, в драме «Странный человек» бабушка совсем уже не является, а отец выставлен далеко не столь симпатично. Без сомнения, поэту стало известно об отношении отца к матери, недаром она показана доброю, любящею, загнанною.

Тем не менее, вся эта пережитая Лермонтовым драма оставила глубокий след в его характере. Он ушел в себя, сосредоточился: в нем явилось обыкновение скрывать от людей все, что было ему особенно близко и свято, выставляя себя беспечным весельчаком, шутником и шалуном даже в такие минуты, когда на душе у него были самые серьезные или мрачные мысли.

К бабушке он сохранял до могилы сыновнее почтение и внимание. На слово его старушка всегда могла положиться. Так, г-н Висковатов слышал от одного лица, близко знавшего Лермонтова, что когда открылась первая на Руси железная дорога в Царское Село, старушка, боявшаяся этого нововведения, как-то раз вырвала у внука, бывшего уже давно гусарским офицером, обещание не ездить по ней. Лермонтов свято хранил данное слово и ездил в Царское Село, где стоял его полк, на тройках. Другой близкий родственник Лермонтова рассказывал Висковатову, что бабушка так дрожала над внуком, что всегда, когда он выходил из дому, крестила его и читала над ним молитву. Он уже офицером, бывало, спешит по службе, на ученье или парад, торопится, но бабушка задерживает его и произносит обычное благословение, и так иногда по несколько раз в день.

Тем не менее замечательно, что в то время, как отцу Лермонтов посвятил несколько стихотворений, в тетрадях его вы не найдете ничего, что имело бы отношение к бабушке. Никогда не высказывалась горячая симпатия к ней, — словом, что-либо

подобное тому, что чувствовал он к отцу.

ГЛАВА IV

Сердечные увлечения Лермонтова и ухаживания за кузинами в отроческом возрасте.

В продолжение учения Лермонтова в пансионе бабушка жила зимой на Молчановке, а лето проводила в подмосковном имении брата своего Д. М. Столыпина, селе Средникове, в двадцати верстах от Москвы по дороге в Ильинское, в прекрасной местности. По воскресеньям и праздникам в бытность бабушки собиралось здесь обыкновенно большое и веселое общество, по большей части все близкие и дальние родные и некоторые соседи. Переживая ту тяжелую драму, с которой мы познакомились в предыдущей главе, Лермонтов в то же время зачитывался стихами своих любимых поэтов, особенно Байрона, и подолгу беседовал с семинаристом Орловым, дававшим уроки словесности сыну владетельницы Средникова. Орлов поправлял ошибки поэта, объяснял ему правила версификации, в которой тот был слаб, и знакомил его с народными песнями.

Находил вместе с тем Лермонтов время и для волнений страсти нежной. Так, после первой привязанности к неизвестной девочке на Кавказе второю любовью он загорелся двенадцати лет в Ефремовской деревне, в 1827 году. В тетради 1830 года он вспоминает об этом увлечении следующее: «Мне 15 лет… я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому беспредельно любимой мною, бисерный синий шнурок; он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп!»

Третьей страстью, относящейся к 16-летнему возрасту, поэт загорелся к своей соседке, Кате Сушковой. Катя Сушкова и подруга ее Сашенька Верещагина жили близ Средникова, видались иногда по несколько раз в день, и Лермонтов, спутник их еще в Москве, бывал кавалером их на разных пикниках, катаньях и кавалькадах. Ровесницы поэта, девушки чувствовали, как всегда бывает в этих случаях, свое превосходство над ним, считая себя взрослыми невестами, а его мальчиком, пользовались его услугами и в то же время потешались над ним и дразнили его. Он обижался, дулся, убегал от них, уединялся; но одно ласковое слово шаловливых приятельниц вновь привлекало его к ним до новой ссоры.

Он был в это время невысокого роста, довольно плечист с

неустановившимися еще чертами матового, скорее смуглого лица. Темные волосы со светлым белокурым клочком чуть повыше лба окаймляли высокий, хорошо развитый лоб; нос был слегка вздернут; прекрасные, большие, умные глаза легко меняли выражение и не теряли ничего от появлявшейся порою золотушной красноты; под большей частью насмешливой улыбкой он тщательно старался скрыть мелькавшее на лице выражение мягкости или страдания — вот каким, по словам Висковатова, рисуют Лермонтова знавшие его в эти годы. А вот как рассказывает Е. А. Хвостова (Сушкова) в своих «Записках» о первом знакомстве с Лермонтовым: «У Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Он учился в университетском пансионе, но учебные его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах; все его называли просто Мишель и я так же, как и все, не заботясь нимало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности.

Сашенька и я, мы обращались с Лермонтовым как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности; он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения! А мы, чтобы подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятым и неоцененным снимком с первейших поэтов.

Еще очень посмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка; мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения, он спорил с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напечь к чаю булочек с опилками! И что же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные,

голодные, с жадностью принялись за чай, и наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобоваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже не показывался несколько дней, притворившись больным».

Но подобные минутные размолвки не мешали Лермонтову проводить время в деревне очень весело среди своих многочисленных кузин.

«Всякий вечер, — говорит Е. А. Хвостова в своих „Записках“, — после чтения затевались игры, но нешумные, чтоб не обеспокоить бабушку. Тут-то отличался Лермонтов. Один раз он предложил нам сказать правду всякому из присутствующих в стихах или в прозе, что-нибудь такое, что бы приходилось кстати. У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык, и мы, хотя с трепетом, но согласились выслушать его приговоры. Он начала с Сашеньки:

Что можно наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже;
Подумать не успев: ты всех милей!
Подумав, я скажу все то же.

Мы все одобрили à propos и были одного мнения с Мишелем. Потом дошла очередь до меня. У меня чудные волосы, и я до сих пор люблю их выказывать; тогда их носили просто заплетенные в одну огромную косу, которая два раза обвивала голову.

Вокруг покойного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.

Мишель, почтительно поклонясь Дашеньке, сказал:

Уж ты чего ни говори,
Моя почтенная Darie,
К твоей постели одинокой
Черкес младой и черноокой
Не крался в тишине ночной.

К обыкновенному нашему обществу присоединился в этот вечер необыкновенный родственник Лермонтова. Его звали Иваном Яковлевичем; он был и глуп, и рыж, и на свою же голову обиделся тем, что Лермонтов ничего ему не сказал. Не ходя в карман за острым словцом, Мишель скороговоркой проговорил ему: „Vous êtes Jean, vous êtes Jacques, vous êtes roux, vous êtes sot, et cependant vous n'êtes point Jean Jacques Rousseau“.[1]

Еще была тут одна барышня, соседка Лермонтова по Чембарской деревне, и упрашивала его не терять слов для нее и для воспоминания написать ей хоть строчку правды для ее альбома. Он ненавидел попрошаек, и, чтоб отделаться от ее настойчивости, сказал: „Ну, хорошо, дайте лист бумаги, я вам выскажу правду“. Соседка поспешно принесла бумагу и перо, он начал:

Три грации…

Барышня смотрела через плечо на рождающиеся слова и воскликнула: „Михаил Юрьевич, без комплиментов, я правды хочу“.

— Не тревожьтесь, будет правда, — отвечал он, и продолжал:

Три грации считались в древнем мире,
Родились вы… все три, а не четыре!

За такую сцену можно было бы платить деньги; злое торжество Мишеля, душивший нас смех, слезы воспетой и утешения Jean Jacques, все представляло комическую картину…»

Такими же шутками, экспромтами, эпиграммами и нежными посланиями к предмету страсти сопровождалось веселое путешествие целым обществом в Воскресенский монастырь и Сергиевскую лавру в конце лета (таково стихотворение «Черноокой»). Во время этой же поездки было написано Лермонтовым стихотворение «У врат обители святой», внушенное ему нищим, который, когда ему спутники поэта подали милостыню, заметил: «Подай нам Бог счастья, господа добрые! Намедни вот насмеялись надо мною тоже господа молодые, — заместо денег положили камешков».

Все эти ухаживания за кузинами и старания казаться совершенно взрослым, и, к тому же, разочарованным не мешали Лермонтову во многих отношениях быть еще ребенком: так, он забавлялся тем, что клеил с сыном Столыпиной, Аркадием, из папки латы и, вооружаясь самодельными мечами и копьями,

ходил с ним в глухие места воевать с воображаемыми духами. Особенно привлекали их воображение развалины старой бани, кладбище и так называемый Чертов мост. Товарищем их по ночным посещениям кладбищ и прочих страшных мест бывал некто Лаптев, из семьи, жившей поблизости в своем имении.

ГЛАВА V

Пребывание Лермонтова в Московском университете.

Мы уже видели в третьей главе, что по выходе Лермонтова из Благородного пансиона, 16 апреля 1830 года, был поднят вопрос о продолжении его воспитания за границей, но, к сожалению, почему-то эта идея была отклонена, а решено было приготовить юношу к вступительному экзамену в Московский университет, что и было исполнено, и 21 августа 1830 года Лермонтов подал прошение о принятии его в число своекоштных[2] студентов в нравственно-политическое отделение; а 1 сентября, после вступительного экзамена, он был принят, причем в скором времени переменил нравственно-политический факультет на словесный как более соответствующий его вкусам и наклонностям. Несмотря на семнадцать лет поэта, в это время характер его представляется уже вполне сформированным и обнаруживает все хорошие и дурные стороны. Так, мы видим в Лермонтове ту печальную раздвоенность, которая, составляя удел всех людей его поколения, наиболее обострялась в нем как вследствие особенностей его воспитания, обстоятельств, так и самой натуры. Это был юноша, обладавший добрым, нежным, любвеобильным сердцем, крайне впечатлительный и отзывчивый на всякую привязанность и ласку, жаждавший любви и дружбы, вместе с порывистою пылкостью соединявший в себе сентиментальную мечтательность. Славянская мягкость натуры Лермонтова достаточно проявилась в его метаниях между отцом и бабушкой, когда ему и папеньку было до слез жалко, и бабушку покинуть совестно и больно.

Не по летам умственно развитый, горячий поклонник Байрона, Шиллера и Руссо, Лермонтов преисполнен был уже в это время необузданных романтических порывов к безграничной свободе, вследствие чего, не только все общественные условия и порядки, но и сама образованность казались ему нестерпимыми рабскими цепями, и в первом варианте стихотворения «Отворите мне темницу» он возглашал:

Я пущусь по дикой степи
И надменно сброшу я
Образованности цепи
И вериги бытия.

Противник всякого стеснения и рабства, Лермонтов, конечно же, был ожесточенным врагом крепостного права. Он уже в детстве, по словам Висковатова, напускался на бабушку, когда она бранила крепостных, выходил из себя, когда кого-нибудь вели наказывать, и бросался на отдававших подобные приказания с палкой, с ножом, — что под руку попадало. На скамье университета это инстинктивное чувство созрело в сознательный протест против крепостничества, который он не замедлил выразить в своей драме «Странный человек», написанной им в 1831 году, на второй год пребывания в университете.

В то же время увлекли его европейские события 1830 года, о чем мы можем судить по встречающимся в записных тетрадях того времени стихотворениям. Вот они: «Ты мог быть лучшим королем», «Опять вы, гордые, восстали», «Привет Новгороду» и мрачное «Предсказание», начинающееся стихами «Настанет год, России черный год…» Под влиянием тех же впечатлений Лермонтов в том же году задумал написать повесть («Повесть без названия»), оставшуюся неоконченной, в которой описывается начало кровавых неурядиц в России, и, между прочим, казак поет песню, еще раньше встречающуюся в тетрадях поэта под заглавием «Воля»…

Но таким Лермонтов был только с самим собой, в затаенных думах, которые он выражал порою в своих записных тетрадях, да в тесном интимном кружке нескольких друзей и приятелей. Для всех же посторонних это был совсем другой человек: сосредоточенный в себе, необщительный, холодный; высокомерно-презрительное отношение его к людям сменялось лишь язвительно-насмешливым, и если овладевал им бес иронии и саркастического смеха, он был беспощаден в своих убийственных колкостях и насмешках.

Сознание гениальности пробудилось в нем рано, когда он и не думал еще выступать в свет, и уже тогда он сравнивал (в стихотворении «Нет, я не Байрон…») душу свою с «огромным океаном». Но заносчивое самолюбие его не могло удовлетвориться этим гордым сознанием, а разжигало в нем стремление блистать и первенствовать в светском обществе, высоко стоя над головами всех ничтожных в его глазах смертных. Это суетное тщеславие зависело не от одного понимания Лермонтовым своих колоссальных умственных сил, а было привито ему тою кастовою замкнутостью и чванством, в духе которых он был воспитан в доме своей бабушки.

Как бы то ни было, а эта мрачная сторона характера Лермонтова принесла ему величайший вред, так как отвлекла его от того лучшего, что было в то время в среде студентов

Московского университета; не сблизился он ни с кружком Белинского, голос которого гремел тогда в 11-й камере казенных студентов, ни с философствующим кружком Станкевича, ни с фрондировавшим кружком Герцена, а примкнул к группе студентов из так называемых аристократических домов, державшихся в стороне от всей прочей студенческой братии и отпугивавших от себя ее своим фатовством и напускным высокомерием. Ближайшими друзьями Лермонтова были товарищи по университетскому пансиону или из общества бабушки и многочисленных родственников. Досуг, проводимый с ними, состоял из светских удовольствий, вечеров, балов и кутежей «золотой» молодежи. Каково же было в то время отношение Лермонтова к студентам-плебеям, не принадлежавшим к избранному кругу, — об этом мы можем судить по следующим воспоминаниям о нем одного из студентов того времени — Вистенгофа:

«Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории, между всеми нами, один только человек как-то рельефно отличался от других; он заставил нас обратить на себя особенное внимание. Этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от нас, даже и садился он постоянно на одном месте, всегда отдельно, в углу аудитории, у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряженным, сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора. Даже шум, происходивший при перемене часов, не производил на него никакого впечатления. Он был небольшого роста, некрасиво сложен, смугл лицом, имел темные приглаженные на голове и висках волосы и пронзительные темно-карие (скорее серые) большие глаза, презрительно глядевшие на все окружающее. Вся фигура этого человека возбуждала интерес и внимание, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилия его — Лермонтов. Прошло около двух месяцев, а он неизменно оставался с нами в тех же неприступных отношениях. Студенты не выдержали. Такое обособленное исключительное положение одного из среды нашей возбуждало толки. Одних подстрекало любопытство или даже сердило, некоторых обижало. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую затаенные его мысли, и заставить высказаться.

Однажды студенты, близко ко мне стоявшие, считая меня за более смелого, обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение. „Вы подойдите,

Вистенгоф, к Лермонтову и спросите его, какую это он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием. Это предлог для разговора самый основательный“, — сказал мне студент Красов, кивая головой в тот угол, где сидел Лермонтов. Умные и серьезные студенты, Ефремов и Станкевич, одобрили совет этот. Недолго думая, я отправился. „Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее. Нельзя ли ею поделиться и с нами?“ — обратился я к нему, не без некоторого волнения подойдя к его одинокой скамейке. Мельком взглянув в книгу, я успел только распознать, что она была английская. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии сверкнули его глаза; трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий, неприветливый взгляд. „Для чего это вам хочется знать? Будет бесполезно, если удовлетворю вашему любопытству. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать, потому что вы не поймете тут ничего, если я даже и сообщу вам содержание ее“, — ответил он мне резко, приняв прежнюю свою позу и продолжая опять читать. Как бы ужаленным, бросился я от него».

Такое высокомерное отчуждение сохранял Лермонтов в продолжение всего времени, пока находился в университете.

«Видимо было, — продолжает вспоминать о нем Вистенгоф, — что Лермонтов имел грубый, дерзкий, заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих его, считал их всех ниже себя. Хотя все от него отшатнулись, а между прочим — странное дело — какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему и невольно заставляло вести себя сдержанно в отношении к нему, в то же время и завидуя стойкости его угрюмого нрава. Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные беседы о современных животрепещущих вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос; Лермонтов, бывало, оторвется от своего чтения и только взглянет на ораторствующих, — но как взглянет!.. Говорящий невольно, будто струсив, или умалит свой экстаз, или совсем замолчит. Доза яда во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.

Вне стен университета Лермонтов точно так же чуждался нас. Он посещал великолепные балы тогдашнего Московского благородного собрания, являлся на них изысканно одетым, в обществе прекрасных светских барышень, к коим относился так же фамильярно, как к почтенным влиятельным лицам во фраках со звездами или ключами назади, прохаживавшимся с ним по

залам. При встрече с нами он делал вид, будто не знает нас; не похоже было, что мы с ним были в одном университете, факультете и на одном и том же курсе. Наконец мы совершенно отвернулись от Лермонтова и перестали им заниматься».

Но замечательно, что, при всем отчуждении Лермонтова от товарищей, каждый раз, как только затевалась какая-нибудь общая история или скандал, он приставал к массе, какая бы опасность ни угрожала ему. Так, он принял участие в известной «маловской истории». Профессор Малов, читавший историю римского законодательства или теорию уголовного права, вывел студентов из терпения своею грубостью и придирчивостью, и они решились сделать ему скандал; собрались с этой целью в его аудиторию целою массою со всех факультетов и, когда он начал читать, вскочили на лавки, — раздались свистки, шиканье, крики: «вон его, вон!..» Затем студенты провожали его по коридору, по лестнице, по университетскому двору и вышли даже за ним на улицу. Дело, таким образом, получило серьезный характер. Можно было ожидать строгих кар вроде отдачи в солдаты или отдаленных ссылок, и особенно грозила опасность тем из участников, которые принадлежали к другим факультетам. В этом числе был и Лермонтов. Чувствуя над собою грозу, он, сидя поздно вечером у своего товарища Поливанова, написал ему следующие стихи:

Послушай, вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный,
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный.
И будешь ты когда-нибудь
Один, в бессонный час полночи,
Сидеть с свечой и… тайно грудь
Вздохнет и вдруг заплачут очи,
И молвишь ты: когда-то он
Здесь, в это самое мгновенье,
Сидел, тоскою удручен,
И ждал судьбы своей решенье.

Но гроза миновала. Университетское начальство, боясь назначения особой следственной комиссии и придания делу преувеличенного значения, отчего могли возникнуть неприятности и для него, поспешило само подвергнуть наказанию некоторых из студентов и по возможности уменьшить вину их. Сам Малов был сделан ответственным за беспорядок и в тот же год получил увольнение. Из студентов лишь некоторые

(например, Герцен) были приговорены к заключению в карцер, Лермонтова же ректор Двигубский, избегавший затрагивать студентов с влиятельной родней, не подвергнул взысканию. Он был лишь оставлен на замечании.

Но Лермонтов не замедлил подтвердить составленное о нем дурное мнение. Тот высокомерно-презрительный тон, с которым относился к товарищам, он не замедлил перенести и на профессоров, чему, впрочем, давало повод низкое состояние уровня преподавания в Московском университете того времени. Надо заметить при этом, что первый год пребывания Лермонтова в университете прошел даром, так как по случаю холеры университет был закрыт и экзаменов в нем не было. Но на второй год уже на рождественских репетициях началось у Лермонтова столкновение с профессорами.

«Перед рождественскими праздниками, — рассказывает Вистенгоф, — профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение на публичных переходных экзаменах. Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал какой-то вопрос Лермонтову; на этот вопрос Лермонтов начал отвечать бойко и с уверенностью. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал. Я бы желал, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, — ответил Лермонтов, — вы нам этого, что я сейчас говорил, не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь научными пособиями из своей собственной библиотеки, содержащей все вновь выходящее на иностранных языках.

Мы переглянулись. Ответ в этом роде был дан уже и прежде профессору Гостену, читавшему геральдику и нумизматику».

Дерзкими выходками этими профессора обиделись и припомнили их Лермонтову на публичном экзамене. Вистенгоф замечает при этом, что столкновения с профессорами открыли товарищам глаза относительно Лермонтова. «Теперь человек этот нам вполне открылся. Мы поняли его, то есть уразумели, — как полагает Вистенгоф, — заносчивый и презрительный нрав Лермонтова».

При таких условиях Лермонтов не мог сдать благополучно экзамена на второй курс, и было решено, как им, так и его родными, чтобы он вышел из Московского университета и поступил в Петербургский. 18 июня 1832 года ему и было выдано

увольнительное свидетельство, в котором не было означено, на котором курсе числился Лермонтов, а лишь глухо сказано, что он поступил в число студентов 1 сентября 1830 года и слушал лекции по словесному отделению.

Трудно судить о том, мог ли дать что-либо университет Лермонтову при незавидном своем состоянии в то время и при отчуждении поэта как от университетской науки и лекций, так и от студенческих кружков. Тем не менее, талант Лермонтова в продолжение двух лет пребывания его в университете, может быть благодаря лишь личным, самостоятельным усилиям, успел сделать большой шаг в своем развитии и обнаружил такие орлиные крылья, которые впоследствии вознесли Лермонтова на высоту первостепенных русских поэтов. Довольно сказать, что среди массы лирических стихотворений этого времени мы видим уже такие перлы, как «Ангел» и «Парус», относящиеся к лучшим его произведениям. Этому же периоду принадлежат, кроме драмы «Странный человек», и такие крупные его произведения, как «Ангел смерти» и «Измаил-Бей», стоящие в ряду лучших его поэм.

Кроме всего этого, университетский период жизни Лермонтова ознаменовался новою страстью к Варваре Лопухиной, опять кузине и опять сверстнице (ей было 16 лет). По словам г-на Висковатова, «это была привязанность уже более глубокая, всю жизнь сопровождавшая поэта, и хотя мы знаем о взаимных отношениях их мало, но образ этой девушки, а потом замужней женщины, является во множестве произведений нашего поэта и раздваивается потом в „Герое нашего времени“, в лицах княжны Мери и особенно Веры». Вареньке Лопухиной посвящено большое число стихотворений, ей посвящен, между прочим, «Демон», ей писана молитва: «Я, Матерь Божия». К этой же личности относится «Любовь мертвеца», «Сон», а к ее дочке — стихотворение «К ребенку». Это была любовь тем более идеальная, чистая, что поэт не мог и помышлять о ее полном удовлетворении. Шестнадцатилетняя барышня была уже невестою, имея массу поклонников, и родители заботились о ее замужестве. Студенту-кузену ее лет оставалось только тайно вздыхать о ней и ревновать ее к каждому претенденту. Между ними не было даже никаких объяснений; молодые люди без слов понимали друг друга. Затем она вышла замуж. Затаив в сердце горечь, и изливая ее порою лишь на мужа любимой женщины, Лермонтов в то же время продолжал молиться на свою кузину и, питая к ней все ту же глубокую привязанность, посвящая ей стихи, избегал называть ее имя и даже в письмах едва касался его.

ГЛАВА VI

Пребывание Лермонтова в школе гвардейских юнкеров.

Получив увольнительное свидетельство из Московского университета, Лермонтов с бабушкой летом 1832 года отправился в Петербург, где поселился в квартире на Мойке, близ Синего моста. Приехали они с целью поступления Лермонтова в Петербургский университет; но этому намерению не суждено было осуществиться. Петербургский университет отказался зачесть юноше годы пребывания в Московском университете; к тому же как раз в это время заговорили об изменении университетского курса на четырехгодичный вместо прежнего трехгодичного. При таких условиях Лермонтову предстояло поступить снова на первый курс и выйти из университета лишь в 1836 году. Его испугала перспектива оставаться так долго на школьной скамье. Ему хотелось сделаться скорее независимым человеком, душа его рвалась на широкий простор жизни. К тому же неудачный опыт пребывания в Московском университете не только не привлек юношу к университетскому образованию, а наоборот, оттолкнул и разочаровал его в нем. В то же время уже с детских лет романтическая голова поэта была преисполнена воинственных порывов; он постоянно жаждал сильных ощущений, борьбы с опасностями, бредил боями и геройскими подвигами и питал страсть к военным людям и военному быту. Заразительно действовал на него также пример многих друзей и товарищей по университетскому пансиону и Московскому университету, которые как раз в это время перешли в школу гвардейских кавалерийских юнкеров. Так, еще за год вступили в нее любимейший из товарищей Лермонтова по университетскому пансиону Михаил Шубин, Поливанов из Московского университета, Алексей Столыпин, Николай Юрьев и сосед по пензенскому имению Михаил Мартынов. Примеру их вознамерился последовать и Лермонтов.

Это его решение так опечалило бабушку, что она даже захворала при мысли, что, поступив в военную службу, внук ее рискует подвергнуться всем ужасам и опасностям войны. В то же время родные и знакомые в Москве всполошились, и между ними стала ходить сплетня, будто Лермонтов имел неприятности и в Петербургском университете и был исключен и оттуда. Это побудило лучшего и неизменного друга Лермонтова, Сашеньку Верещагину, написать ему из Москвы, от 13 октября,

встревоженное письмо: «Аннет Столыпина пишет П., что вы имели неприятность в университете и что тетка моя (т. е. бабушка) от этого захворала; ради Бога напишите мне, что это значит? У нас все делают из мухи слона, — ради Бога успокойте меня! К несчастию, я вас знаю слишком хорошо, чтобы быть спокойною. Я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первого вздора. Фи, стыд какой!.. С таким дурным характером вы никогда не будете счастливы».

Лермонтов отвечал на это письмо: «Несправедливая и легковерная женщина! (Заметьте, что я в полном праве так называть вас, дорогая кузина!) Вы поверили словам и письму молодой девушки, не подвергнув их критике. Annette говорит, что она никогда не писала, что я имел неприятность, но что мне не зачли, как это было сделано для других, годы, проведенные мною в Московском университете. Дело в том, что вышла реформа для всех университетов, и я опасаюсь, чтоб от нее не пострадал также и Алексис (Лопухин), ибо к прежним трем невыносимым годам прибавили еще один».

И вот, несмотря на огорчение бабушки и общее неудовольствие всех родных, смотревших на переход юноши в военную службу как на крушение возлагавшихся на него блестящих надежд, в конце октября или начале ноября Лермонтов выдержал приемный экзамен в юнкерской школе и приказом по школе от 14 ноября 1832 года был зачислен в лейб-гвардии гусарский полк на правах вольноопределяющегося унтер-офицера.

Огорчение бабушки, равно как и неудовольствие всех родных имели глубокое основание, так как поступление Лермонтова в школу юнкеров было роковым шагом, печально отразившимся на всей его последующей жизни, шагом, в котором и сам поэт не замедлил разочароваться. Свободолюбивый, избалованный юноша, привыкший, чтобы каждая прихоть его беспрекословно исполнялась, не знавший удержу в своих романтических порывах, которому даже и университетские порядки казались цепями, попал вдруг в обстановку, сдавливавшую всякую индивидуальную свободу. Суровая военная дисциплина школы была тем чувствительнее, что как раз перед вступлением Лермонтова в школу начальство, с целью подтянуть воспитанников, стало укреплять ее с особенною строгостью, придираясь ко всяким мелочам. Лермонтов сразу должен был почувствовать себя связанным по рукам и ногам, и, сверх того, его гордой душе на каждом шагу пришлось терпеть самые унизительные оскорбления. Но отступать было поздно, да и самолюбие поэта ввиду тех судов и пересудов, какие подняли все его родные по

случаю его поступления в школу, не позволило бы ему изменить своего решения. Оставалось сдавить насколько возможно свою необузданную натуру и утешаться мыслью, что эта каторга продлится недолго, всего лишь два года.

И Лермонтов смирился, вполне доказав этим, что действительно он был не Байрон, а с «русскою душой»; смирился не только перед военною дисциплиною, но и перед всею средою, в которой он очутился. Вместо прежней толпы учащейся молодежи, жадной до всяких умных и новых книг, вечно волновавшейся и кипятившейся в ожесточенных спорах по поводу самых животрепещущих философских, литературных и общественных вопросов, он попал теперь в среду, в которой не существовало никаких умственных интересов, книги были большою редкостью, да к тому же и чтение их запрещалось; на первом же плане стояло молодечество и ухарство грубою физическою силою. Восхищались теми, кто быстро выказывал «закал», то есть неустрашимость в товарищеских предприятиях, обмане начальства и выкидывании разных чисто школьнических «смелых штук». И вот тот же самый Лермонтов, который с презрительным высокомерием смотрел на философствовавших студентов и чуждался их, теперь, напротив, спешит утвердиться в глазах своих новых товарищей, старается идти с ними рука в руку, ни в чем не отставать от них, а быть впереди во всех их лихих предприятиях. Он ужасно рассердился на бабушку, когда та приказала служившему ему человеку потихоньку приносить барину из дома всякие яства и поутру рано будить его до «барабанного боя» из опасения, что пробуждение от внезапного треска расстроит его нервы. Досталось за это и слуге. Страх попасть в число «маменькиных сынков» и желание поскорей снискать репутацию «лихого юнкера» побудили Лермонтова, обладавшего большою силою в руках, покуситься даже на состязание с первым силачом школы Карачинским, который гнул шомпола и вязал из них узлы, как из веревок. Однажды, когда они оба забавлялись пробою силы, в зал вошел директор школы Шлиппенбах. Вспылив, он стал выговаривать обоим юнкерам: «Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети что ли вы, чтобы шалить?.. Ступайте под арест!» Оба высидели сутки. Рассказывая затем товарищам про выговор, полученный от начальника, Лермонтов с хохотом заметил: «Хороши дети, которые могут из железных шомполов вязать узлы!» Самолюбивое желание не отстать от товарищей было причиною случая, едва не имевшего весьма печальных последствий. Вот как рассказывает о нем товарищ поэта по школе: «Вступление Лермонтова в юнкера не совсем было счастливо. Сильный душою, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз после езды в

манеже, будучи еще, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтобы показать свое знание в езде, силу и легкость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Долго лежал он потом больным в квартире бабушки».

В письме от 25 февраля 1833 года Лопухин просил его: «Напиши мне, что в школе, остаешься или нет, и позволит ли тебе нога продолжать службу военную». Лермонтов проболел несколько месяцев, но поправился, хотя потом всю жизнь едва заметно прихрамывал, еще более уподобляясь этим Байрону. Таким образом, в первый год своего поступления в школу он пробыл в ней лишь два месяца. 18 июня 1833 года он пишет Лопухиной: «Надеюсь, вам приятно будет знать, что, побывав в школе всего два месяца, я выдержал экзамен в первый класс и теперь один из первых. Это все же питает надежду близкой свободы».

Не понравились Лермонтову ни Петербург с его прямыми улицами и казенными домами, окрашенными в желтую форменную краску, с серым небом и вечными дождями и туманами, ни петербургское общество, которое произвело на него «впечатление французского сада, узкого и незамысловатого, но в котором с первого раза можно потеряться, до того хозяйские ножницы уничтожили в нем все самобытное», ни даже море, которое обмануло поэта, и он не почерпнул великих дум в роковом его просторе. Это заставило его еще более замкнуться в тесном кругу ухарей-товарищей. Воротился в школу после болезни он уже не новичком, а равноправным старым юнкером. Особенно сблизила Лермонтова с молодежью лагерная жизнь, причем ближайшими товарищами его оставались старые московские знакомые: Поливанов, Шубин и родственники Столыпин и Юрьев. Из новых товарищей наиболее сошелся он с Вонлярлярским, впоследствии известным романистом. Тщательно скрывая от товарищей свои умственные интересы, мало их занимавшие, Лермонтов со всеми был одинаково хорош, выказывал себя веселым и хотя не принадлежал к числу отъявленных шалунов, но любил иногда пошкольничать. Единственное, что подчас вооружало против него юнкеров, это его злой язык, страсть преследовать людей остротами и колкими шутками за все, что ему не нравилось в других. Сам Лермонтов ничуть не обижался, когда на его остроты ему отвечали тем же, и от души смеялся ловкому слову, направленному против него. Так,

он не только не оскорблялся данным ему прозвищем Маешка, взятым из французского романа, где фигурирует косолапый горбун Мауех, но в одной поэме выставил самого себя под этим именем, не щадя юмористических красок. Но не все имели его великую душу. Мелкие самолюбивые натуры глубоко оскорблялись остротами и насмешками Лермонтова; поэт и не подозревал, сколько злобы копилось против него.

В свободное от занятий время юнкера порою собирались около рояля, который сами брали напрокат. Один из товарищей аккомпанировал на нем певшим разные песни. Лермонтов присоединялся к поющим, но запевал совсем другую песню и сбивал всех с такта; разумеется, при этом раздавались шум, хохот и нападки на Лермонтова. Певались романсы и нескромного содержания, которые наиболее нравились. Лермонтов для забавы юнкеров переделывал разные песни, применяя их ко вкусам товарищей. Так была им переделана для них известная ходившая тогда по рукам в рукописи песня Рылеева «Ах, где те острова». Группировались в свободное время и около Вонлярлярского, который привлекал к себе неистощимыми забавными рассказами. Лермонтов соперничал с ним, никому не уступая в остротах и веселых шутках. По вечерам же часто тайком от товарищей забирался в пустые классы и писал там до поздней ночи. Но, увы, это была поэзия совсем другого сорта. Все, что было задумано, начато и набросано в течение двух лет пребывания в университете, — все это было теперь заброшено, забыто. В продолжение пребывания в юнкерской школе единственным произведением в прежнем духе, вылившимся из-под его пера, была поэма «Хаджи Абрек», в которую поэт внес мотивы и строфы из «Каллы», «Аула Бастунджи» и даже «Измаил-Бея», так что она скорее принадлежит прежним годам творчества поэта. Замечательна поэма тем, что это было первое произведение Лермонтова, явившееся в печати, так как товарищ его Николай Юрьев тайком от поэта снес копию поэмы Сенковскому, и тот, одобрив ее, напечатал в «Библиотеке для чтения» (1835 год) за полною подписью автора.

Совсем другое и очень прискорбное направление получило творчество поэта с поступлением в юнкерскую школу. В 1834 году кому-то пришло в голову издавать еженедельный рукописный журнал под заглавием «Школьная заря». Желавшие участвовать клали свои статьи в определенный для того ящик одного из столиков, стоявших возле кроватей. Статьи эти вынимались из ящика по средам, сшивались и затем прочитывались в собрании товарищей при общем смехе и шутках. Все эти литературные упражнения носили крайне скабрезный характер. Тут-то

Лермонтов и поместил ряд своих скоромных поэм, каковы «Петергофский праздник», «Уланша», «Госпиталь»; поэмы эти были подписаны псевдонимом «граф Диарбекир» и «Степанов». Они принесли поэту очень много вреда во всех отношениях. Во-первых, юнкера, покидая школу и поступая в гвардейские полки, разносили в списках эти поэмы в холостые кружки «золотой» молодежи, и таким образом, прежде чем снискать славу великого русского поэта, Лермонтов получил уже известность нового Баркова. Когда затем стали появляться в печати его истинно высокие произведения, знавшие Лермонтова под подобною позорною кличкою негодовали, что этот гусарский корнет «смел выходить со своими творениями». Бывали случаи, что сестрам и женам запрещали говорить о том, что они читали произведения Лермонтова, — это считали компрометирующим. И, во-вторых, по мере того как расходились эти поэмы, изображенные в них в комическом виде личности, игравшие смешную, глупую или обидную роль, негодовали на Лермонтова. Негодование это росло вместе со славою поэта, и таким образом многие из его школьных товарищей обратились в злейших его врагов. Люди эти, отказывавшие Лермонтову во всяком таланте и с презрением отзывавшиеся о нем как о «посредственном подражателе Байрона», вредили ему в его служебной карьере, которую сами проходили успешно. К ним, вероятно, относится стихотворение поэта, известное лишь в немецком переводе Боденштедта и в следующем переводе на русский язык Д. Минаева:

Всегда я чувствовал к вам полное презренье,
Названием ослов клеймил вас, шельмовал,
И вы же у меня просили извиненья
В том, что я вас ослами называл.
Когда я в обществе блистал, вы, с малолетства,
Льстецы, позор которым не в позор,
Употребляли все искусство и все средства,
Чтоб мне понравиться, поймать один мой взор.
Теперь совсем не то. Вы в сане, вы в почете,
В блестящих орденах; у вас и вид иной,
И вы уже меня в толпе не узнаете,
Хоть пресмыкались так недавно предо мной.

Как тяжело отразилось на сознании Лермонтова время пребывания его в юнкерской школе, мы можем судить по тому, что он сам в письме от 23 декабря 1834 года называет два эти года страшными.

ГЛАВА VII

Лермонтов-офицер. — Лагерная жизнь и светские развлечения. — Эпизод с Е. А. Сушковой.

Высочайшим приказом 22 ноября 1834 года Лермонтов был произведен в корнеты лейб-гусарского полка, расположенного в Царском Селе. Бабушка не замедлила роскошно экипировать своего возлюбленного внука и окружить его обстановкою, считавшейся необходимою для блестящего гвардейского офицера. Повар, два кучера, слуга (все четверо крепостные из Тархан) были отправлены в Царское Село. Несколько лошадей и экипажи стояли на конюшне. Кроме денег, выдаваемых в разное время, ему было ассигновано по десять тысяч рублей в год.

Все это давало возможность Лермонтову закружиться в вихре светских развлечений и отчаянных кутежей и шалостей «золотой» гвардейской молодежи. Это был ряд непрестанных оргий, исполненных разных рискованных выходок и проказ, иногда остроумного, а по большей части довольно грубоватого, ухарского характера. «Насмешливый, едкий, ловкий, — вспоминает о Лермонтове графиня Евдокия Ростопчина, — вместе с тем полный ума самого блестящего, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был запевалой в беседах, в удовольствиях, в кутежах, словом, всего того, что составляло жизнь в эти годы».

До самой высылки на Кавказ в 1837 году Лермонтов жил то в Царском Селе, то в Петербурге, причем в Царском Селе сожителем его был родственник, товарищ и друг детства Алексей Аркадьевич Столыпин, а в Петербурге — тоже родственник и друг Святослав Афанасьевич Раевский, получивший хорошее образование в университете, имевший знакомства в литературном кругу и служивший в военном министерстве.

Что касается Столыпина, воспетого Лермонтовым в шуточной поэме «Монго» под этой кличкой, неизвестно по какому случаю данной ему поэтом, то, по отзыву одного из современников, он славился баснословною красотою и благородством.

С детства Столыпина, приходившегося Лермонтову двоюродным дядей, но по равенству лет считавшегося его двоюродным братом, соединяла с поэтом тесная дружба, сохранившаяся ненарушимой до смерти. Близко знавший душу своего друга, Столыпин всегда защищал его от нападок многочисленных врагов. Два раза сопровождал он его на Кавказ,

как бы охраняя горячую, увлекающуюся натуру его от опасных в его положении выходок, а когда он умер, Столыпин же закрыл ему глаза.

Лермонтов был в это время также очень близок с товарищем по школе Константином Булгаковым, офицером Преображенского и затем Московского полка. В конце 30-х и начале 40-х годов много рассказывали о его не лишенных остроумия отчаянных проказах, доставивших ему особую милость великого князя Михаила Павловича, отечески его журившего и сажавшего под арест и на гауптвахту. Лермонтов любил «хороводиться» с этим Костькой Булгаковым, как называли его товарищи, когда у него являлась фантазия учинить шалость, выпить или покутить на славу, — и вслед за своим собутыльником и сам то и дело был сажаем на гауптвахту: то за несвоевременное возвращение из Петербурга, то за разные шалости и отступления от дисциплины и формы. Однажды он явился на развод с маленькою, чуть ли не детскою игрушечною саблею, несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же дал поиграть ею маленьким великим князьям, Николаю и Михаилу Николаевичам, приведенным посмотреть на развод, а Лермонтова приказал выдержать на гауптвахте. После этого Лермонтов завел себе саблю больших размеров, которая, при его малом росте, казалась еще громаднее и, стуча о камень или мостовую, производила ужасный шум, что было не в обычае у благовоспитанных гвардейских кавалеристов, носивших оружие свое с большою осторожностью, не позволяя ему греметь. За эту несоразмерную саблю Лермонтов опять-таки попал на гауптвахту. Точно так же великий князь Михаил Павлович с бала, даваемого царскосельскими дамами офицерам лейб-гусарского и кирасирского полков, послал Лермонтова под арест за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира. И не раз доставалось ему за то, что он свою форменную треугольную шляпу носил «с поля», что преследовалось. Впрочем, арестованные жили на гауптвахтах весело. К ним приходили товарищи, устраивались пирушки, и лишь при появлении начальства бутылки и снадобья исчезали при помощи услужливых сторожей. Все это было причиною того, что начальство уже тогда не благоволило к Лермонтову, и он считался дурным фронтовым офицером.

Но полковая жизнь со всеми ее попойками и шалостями не исчерпывала всего времени Лермонтова и не могла вполне удовлетворить его самолюбие. Он жаждал успехов в большом свете, которые в его глазах казались тем привлекательнее, чем были для него недостижимее. Молодой, некрасивый гусарский

корнет из бедного захудалого рода, он ничем не мог привлечь к себе внимания в гостиных и на балах. Положение, которое другие приобретали легко, без всяких нравственных преимуществ, Лермонтову приходилось завоевывать, борясь с большими трудностями. Его принимали лишь как танцора, благодаря связям бабушки. Сознание некрасивости больно уязвляло его душу. И вот, чтобы быть замеченным, чтобы им заинтересовались и заговорили о нем, он вознамерился сделаться героем дня, прослыв отчаянным и дерзким донжуаном. Жертвою этого шага он избрал свою кузину, к которой был некогда неравнодушен, Е. А. Сушкову.

Здесь мы имеем дело с эпизодом, представляющим, во всяком случае, темное пятно в жизни Лермонтова и свидетельствующим о всей той прискорбной испорченности, к какой привела юношу воспитавшая его среда и особенно те зачерствившие его сердце и ожесточившие его два года, которые он провел в юнкерской школе.

Эпизод этот, весьма обстоятельно и красноречиво рассказанный самим Лермонтовым в письме его к Сашеньке Верещагиной весною 1835 года, заключался в том, что, встретившись в Петербурге со своею кузиною, к которой он был пять лет тому назад неравнодушен, он начал снова ухаживать за нею, сумел покорить ее сердце, несмотря на то, что был моложе ее года на два — на три, и публично обращался с нею как с личностью, весьма к нему близкою, а потом вдруг публично покинул ее, стал с нею жесток и дерзок, насмешлив и холоден; начал ухаживать за другими и под секретом рассказывал им те стороны истории, которые представлялись в его пользу; а когда он решил, что надо порвать с нею в глазах света, то написал ей предостерегающее анонимное письмо, в котором выставил самого себя самым отчаянным донжуаном, погубившим уже не одну жертву, и так ловко отправил ей это письмо, что оно непременно должно было попасть в руки родным и произвести скандал.

Единственное, что хоть сколько-нибудь оправдывает Лермонтова во всей этой неблаговидной истории, это то, что Е. А. Сушкова до некоторой степени заслужила такое отношение к ней. Гордое и самолюбивое сердце Лермонтова было уже уязвлено воспоминаниями о том, как некогда она забавлялась с ним чисто кошачьими заигрываньями и безжалостно насмеялась над пятнадцатилетним влюбленным в нее мальчиком. Теперь ей было уже двадцать три года, родные вывозили ее на балы с очевидным намерением выдать замуж. Сама она в своих записках рассказывает о целом ряде своих обожателей в Москве. От любви к некоему Г. она даже захворала.

Осенью 1834 года она приехала из деревни в Петербург; немного погодя приехал из Москвы близкий друг Лермонтова Алексей Александрович Лопухин, за которого родные очень желали выдать Екатерину Александровну и к которому сердце девушки, по собственному ее рассказу, было полно страсти еще прежде. На балу, 4 декабря, она встретилась с Лермонтовым, только что произведенным в офицеры, и, несмотря на то, что любила другого и считала себя почти его невестою, она тотчас же начала вызывающе кокетничать и с поэтом. И вот 23 декабря 1834 года, то есть вскоре после встречи с нею, Лермонтов пишет уже Екатерине Александровне Лопухиной о ее брате: «Скажите, я заметил, что он как будто чувствует слабость к m-lle Catherine Souchkoff… Известно ли это вам?.. Дяди барышни, кажется, желали бы очень поженить их! Да сохрани Господь!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья коей зацепляются за все встреченное! Было время, когда она мне нравилась. Теперь она почти принуждает меня ухаживать за нею. Но не знаю, есть в ее манерах, в ее голосе что-то жесткое, отрывистое, отталкивающее. Стараясь ей понравиться, в то же время ощущаешь удовольствие скомпрометировать ее, запутавшуюся в собственные сети»… «Вы видите, — пишет он в другом письме, — что я мщу за слезы, которые пять лет тому назад заставляло проливать меня кокетство m-lle Сушковой. О! наши счеты еще не кончены! Она заставила страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбие старой кокетки!»

В то же время Лермонтова побуждали в его интриге с Сушковой отношения ее к Алексею Лопухину. Лермонтова выводило из себя то обстоятельство, что друга его детства, с которым он до конца жизни оставался в самых задушевных отношениях, старается завлечь и, что называется, окрутить девушка, которая, по его мнению, ничего не могла принести ему, кроме несчастия. Вопрос, таким образом, шел о целой жизни друга, и Лермонтов начал свою интригу отчасти с благородною целью — открыть глаза другу и тем спасти его.

Как бы то ни было, но цель была достигнута: друга он вырвал из рук коварной кокетки, за себя отомстил и вместе с тем, путем скандала, заставил свет заметить его и заговорить о нем. Сама жертва всей этой истории рассказывает, как теперь им заинтересовался целый ряд лиц, и Саша Ж., и Лиза Б. Заинтересовались и другие мужчины и женщины. «Мне случалось слышать, — рассказывает Ростопчина, — признания нескольких из жертв Лермонтова, и я не могла удержаться от смеха, даже прямо в лицо, при виде слез моих подруг, не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками, которые он

давал своим злодейским, донжуанским подвигам»…

ГЛАВА VIII

Литературные занятия и знакомства. — Стихи на смерть Пушкина и дело о них.

Во всяком случае, все, что рассказано нами в предыдущей главе, заставляет невольно сжиматься сердце, если подумать, сколько молодых, горячих сил и дорогого времени растрачено было Лермонтовым на беспутные оргии и пошлое светское ловеласничанье. Остается лишь удивляться, как он уцелел физически и нравственно, как не сломилось его железное здоровье и вместе с тем не угас огонь его гениального духа.

И тем более поражает необъятность могучих сил Лермонтова, что, как оказывается, Лермонтов далеко не был весь поглощен недостойными его высоты великосветскими и лагерными похождениями, какими он в это время увлекался. Он жил положительно двойною жизнью и находил каким-то образом время и возможность, уединяясь от товарищей и от света, творить свои дивные произведения. Так, сверх массы мелких стихотворений ко времени его первой ссылки он успел окончить «Демона», написать поэму «Боярин Орша», повесть «Казначейша» и драму «Маскарад». Подобно Пушкину, он скрывал от своих светских друзей и знакомых свои литературные занятия, выставлял себя лишь паркетным шаркуном, шалуном-гусаром, бонвиваном и донжуаном и обнаруживал свой поэтический дар лишь убийственными эпиграммами-экспромтами, которыми пугал, злил и вооружал против себя в большом свете всех, кто попадался ему на зубок. Но в то же время он не упускал случая завязывать различные литературные знакомства. Так, мы видели уже, что его родственник Юрьев пристроил в «Библиотеку для чтения» его «Хаджи Абрека». Другой родственник, С. А. Раевский, свел Лермонтова с А. А. Краевским, издававшим тогда «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“». Впоследствии Лермонтов имел довольно обширные знакомства в кругу писателей, особенно влиятельных и великосветских: он был знаком с Жуковским, князем Одоевским, Плетневым, А. Н. Муравьевым (автором «Путешествия ко святым местам»).

Вот что рассказывает Муравьев в своей книжке «Знакомство с русскими поэтами» о своем знакомстве с Лермонтовым:

«Однажды его товарищ по школе, гусар Цейдлер, приносит мне тетрадь стихов неизвестного поэта и, не называя его по имени, просит только сказать мое мнение о самих стихах. Это

была первая поэма Лермонтова, „Демон“. Я был изумлен живостью рассказа и звучностью стихов и просил передать это неизвестному поэту. Тогда лишь, с его дозволения, решился он мне назвать Лермонтова, и когда гусарский юнкер надел эполеты, он не замедлил ко мне явиться. Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам: живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкий и пронзительный его смех был неприятен для слуха, как бывало у Хомякова, с которым во многом имел он сходство. Часто читал мне молодой гусар свои стихи, в которых отзывались пылкие страсти юношеского возраста, и я говорил ему: „Отчего он не изберет более высокого предмета для столь блестящего таланта?“ Пришло ему на мысль написать комедию вроде „Горе от ума“, резкую критику на современные нравы, хотя и далеко не в уровень с бессмертным творением Грибоедова. (Дело идет, конечно, о „Маскараде“). Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура III отделения не могла ее пропустить. Автор с негодованием прибежал ко мне и просил убедить начальника сего отделения, моего двоюродного брата Мордвинова, быть снисходительным к его творению; но Мордвинов оставался неумолим; даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом».

В этих заключительных словах Муравьев намекает, конечно, на известный эпизод со стихотворением на смерть Пушкина.

Думал ли Лермонтов, когда он заводил недостойную его интригу с Сушковой с целью обратить на себя внимание большого света, что он и без столь предосудительного средства, силою одного своего высокого таланта, мог заставить заговорить о себе, и притом не два-три петербургских салона, а всю Россию. Эпизод, о котором сейчас пойдет речь, служит наглядным примером того, какое действие производят крупные общественные события на литературные дарования, которые, будучи даже столь могучими, как у Лермонтова, обыкновенно дремлют в годы всеобщего застоя и пошлости.

Таким событием, сильно взволновавшим все русское общество, была неожиданная смерть Пушкина, павшего на дуэли жертвою коварной и низкой интриги. Известно, что происходило, как только по Петербургу разнеслась весть о дуэли. Перед домом, где жил Пушкин, с утра до ночи стояли толпы, ожидавшие известий о положении поэта; люди всех званий теснились потом в его квартире, чтобы поклониться его праху. Опасались волнения, взрыва народной ненависти против убийцы; принимались меры предосторожности.

Как на всю молодежь, несчастное событие сильно подействовало и на Лермонтова, который, как говорят, незадолго перед тем имел случай познакомиться с обожаемым поэтом.

Юрьев, товарищ и родственник Лермонтова, рассказывает, что и несчастное событие, и симпатии высшего общества к Дантесу, к которому особенно благоволили великосветские барыни, сильно раздражали Лермонтова. Всегда исполненный деликатного почтения к своей бабушке, поэт с трудом воздержался от раздраженного ответа, когда старушка стала утверждать, что Пушкин сел не в свои сани и не умел управлять конями, которые и увлекли его в пропасть. Не желая спорить с бабушкой, Лермонтов уходил из дома. Бабушка, заметя, как на внука действуют светские толки о смерти Пушкина, стала избегать говорить о них. Но говорили другие, весь Петербург, и все это наконец так повлияло на поэта, что он захворал нервным расстройством. Ему являлась даже мысль вызвать Дантеса и отомстить за гибель русской славы. Результатом этого возбуждения и было стихотворение на смерть Пушкина, в котором Дантес был выставлен как искатель приключений. Умы немного утихли, когда разнесся слух, что государь желает строгого расследования дела и наказания виновных. Тогда-то эпиграфом к стихам своим Лермонтов поставил:

Отмщенья, Государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.
(Из трагедии)

Стихотворение первоначально не имело шестнадцати заключительных строк и кончалось стихом: «И на устах его печать». Оно прочтено было государем и другими лицами и удостоилось высокого одобрения, и даже выражения надежды, что Лермонтов заменит России Пушкина. Жуковский признал в стихотворении проявление могучего таланта, а князь Вл. Ф. Одоевский наговорил комплиментов по адресу Лермонтова при встрече с его бабушкой. Толковали, что Дантес страшно рассердился на Лермонтова и что командир лейб-гвардии гусарского полка утверждал, что не сиди убийца Пушкина на гауптвахте, он непременно послал бы вызов Лермонтову за его стихи.

Беспокоясь о болезни внука, бабушка послала за лейб-

медиком Арендтом, который как очевидец последних минут жизни Пушкина рассказал Лермонтову всю печальную эпопею двух с половиною суток, с 27 по 30 января, которые прострадал Пушкин. В это самое время вошел к Лермонтову родственник Николай Аркадьевич Столыпин (брат Монго-Столыпина). Он служил в министерстве иностранных дел и принадлежал к высшему обществу. Он рассказал больному, о чем толкуют в великосветских салонах, сообщил, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, и т. п. Расхваливая стихи Лермонтова, Столыпин находил, что напрасно, вознося Пушкина, Лермонтов слишком нападает на невольного убийцу, который, как всякий благородный человек, не мог не стреляться: honneur oblige.[3] Лермонтов отвечал, что чисто русский человек, не офранцуженный, неиспорченный, снес бы от Пушкина всякую обиду во имя любви к славе России, не мог бы поднять руки на нее. Спор стал горячее — и Лермонтов утверждал, что государь накажет виновников интриги и убийства. Столыпин настаивал на том, что тут была затронута честь, и что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что судить Дантеса и Геккерна по русским законам нельзя, что ни дипломаты, ни знатные иностранцы не могут быть судимы на Руси. Тогда Лермонтов прервал его, крикнув: «Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд!»

Запальчивость поэта вызвала смех со стороны Столыпина, который тут же заметил, что у «Мишеля слишком раздражены нервы». Но поэт уже был в полной ярости, он не слушал собеседника и, схватив лист бумаги, сердито поглядывая на Столыпина, что-то быстро чертил, ломая карандаши, по обыкновению, один за другим. Увидав это, Столыпин полушепотом и улыбаясь заметил: «la poésie enfante!» (поэзия зарождается!) Наконец раздраженный поэт напустился на собеседника, назвал его врагом Пушкина и, осыпав упреками, кончил тем, что закричал, чтобы он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. Столыпин вышел со словами: «Mais il est fou à lier» (Да он дошел до бешенства, его надо связать!) Четверть часа спустя Лермонтов прочел Юрьеву заключительные 16 строк своего стихотворения.

С. А. Раевский, сожитель Лермонтова, возвратясь домой, пришел в восторг от нового окончания стихотворения на смерть Пушкина и стал распространять эти сильные стихи. Ни ему, ни самому поэту и в голову не приходило, что за них можно пострадать.

Между тем на многолюдном рауте у графини Ферзен А. М. Хитрово, разносчица всевозможных сенсационных вестей,

обратилась к графу Бенкендорфу со злобным вопросом: «А вы читали, граф, новые стихи на всех нас, в которых la crème de la noblesse[4] отделывается на чем свет стоит молодым гусаром Лермонтовым?» Она пояснила, что стихи, начинающиеся словами «А вы, надменные потомки», являются оскорблением всей русской аристократии, и довела графа до того, что он увидал необходимость разузнать дело ближе. Граф Бенкендорф знал и уважал бабушку Лермонтова, бывал у нее, ему была известна любовь ее к внуку, но, при всем желании дать делу благоприятный оборот, он ничего уже не был в состоянии сделать. На другое же утро он заметил Л. В. Дубельту, говоря о слышанном на вечере, что «если Анна Михайловна (Хитрово) знает о стихах, то не остается ничего более делать, как доложить о них государю». И действительно, когда граф явился к императору, чтобы доложить о стихах в самом успокоительном смысле, государь уже был предупрежден, получив по городской почте экземпляр стихов с надписью: «Воззвание к революции». Подозрение тогда же пало на госпожу Хитрово.

Арест Лермонтова произошел следующим образом. Посланный в Царское Село осмотреть бумаги поэта и арестовать его Веймарн нашел квартиру нетопленной, ящики стола и комодов пустыми. Отсутствие Лермонтова прикрыли внезапною болезнью его, приключившеюся при посещении внуком престарелой бабки, и ограничились затем только выговором ближайшему виновнику недосмотра полковнику Саломирскому, позволившему офицеру самовольно отлучиться от полка и проживать в Петербурге. Затем обратились в петербургскую квартиру Лермонтова, и 21 февраля поэт был посажен на гауптвахту в Петропавловской крепости.

В тот же день с Раевского были сняты показания. Решившись взять на себя вину в распространении стихов друга и для того, чтобы показания Лермонтова не разнились с его показаниями, он черновую, писанную карандашом, положил в пакет, адресовав его на имя крепостного человека Лермонтова, Андрея Иванова. К черновой приложена была записка:

«Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не сможешь завтра же поутру передать, то через Афанасия Алексеевича (Столыпина). И потом непременно сжечь ее».

Доставить пакет этот Раевский поручил одному из сторожей. Пакет был перехвачен и немало усугублял виновность Раевского в глазах судей.

После домашнего допроса Лермонтова посадили в одну из комнат верхнего этажа Главного штаба. К нему пускали только камердинера, приносившего обед. Поэт велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько стихотворений, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, Матерь Божия», «Сосед», «Узник».

25 февраля последовало Высочайшее повеление, а 27-го вышел приказ, по которому Лермонтов переводился тем же чином (корнетом) в Нижегородский драгунский полк — на Кавказ. Раевский же, проведя на гауптвахте один месяц, был выслан в Олонецкую губернию на службу по усмотрению тамошнего губернатора. Он поплатился, таким образом, более самого поэта, был возвращен из ссылки позднее, и Лермонтов сильно скорбел за своего друга. Дело в том, что допрашивавший Лермонтова граф Клейнмихель обещал, что если Лермонтов назовет виновника распространения, то избегнет разжалования в солдаты, названное же лицо будет прощено. Лермонтов и назвал Раевского. Когда же он был выпущен из-под ареста и узнал, что Раевский сидит в заключении, то пришел в отчаяние, не зная, что участие Раевского было известно до признания Лермонтова и допрос Раевского был сделан днем раньше допроса Лермонтова. Однако поэт долго не мог простить себе своего заявления о том, что никому, кроме Раевского, не показывал стихов, и что Раевский, вероятно, по необдуманности, показал их другому, и таким образом они распространились. Еще в июне 1838 года, возвращенный с Кавказа и вновь определенный в лейб-гвардии гусарский полк, Лермонтов пишет в Петрозаводск Раевскому о том, что повергло его в несчастие. Очевидно, услужливые люди пытались вызвать между друзьями вражду или хоть недоразумение, и поэт с негодованием отвергает наветы. Когда Раевский в декабре 1838 года получил наконец прощение и вернулся из ссылки в Петербург, где жили его мать и сестра, уже через несколько часов по приезде вбежал в комнату Лермонтов и бросился на шею к Раевскому.

«Я помню, — рассказывает сестра последнего, г-жа Соловцева, — как Михаил Юрьевич целовал брата, гладил его и все приговаривал: „Прости меня, прости меня, милый!“

Я была ребенком и не понимала, что это значило; но как теперь вижу растроганное лицо Лермонтова и большие, полные слез глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга».

ГЛАВА IX

Первая ссылка на Кавказ. — Перевод в Гродненский полк. — Странствия. — Знакомство с декабристами и отзыв о Лермонтове декабриста Назимова. — Приезд в Петербург. — Успехи в свете и популярность. — Литературные труды и цензурные неприятности. — Знакомство с Жуковским. — Сближение с Краевским.

Несколько дней спустя после состоявшегося приказа Лермонтов отправился на восточный берег Черного моря, где должны были открыться военные действия против горцев под начальством генерала Вельяминова.

Прибыв туда, он остановился в Тамани в ожидании почтового судна, которое перевезло бы его в Геленджик. Тут поэт испытал страшного рода столкновение с казачкою Царицихой, принявшей его за соглядатая, желавшего выследить контрабандистов, с которыми она имела сношения. Эпизод этот послужил поэту темою для повести «Тамань». В 1879 году, по словам г-на Висковатова, описываемая в этой повести хата еще была цела; она принадлежала казаку Миснику и стояла невдалеке от нынешней пристани над обрывом.

О пребывании на Кавказе Лермонтов сообщает в нижеследующем письме к Раевскому, писанном перед возвращением в Петербург:

«С тех пор как я выехал из России, — читаем мы, между прочим, в этом письме, — поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Камаке, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже…

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную, пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь… Здесь, кроме войны, службы нет, я приехал в отряд слишком поздно, ибо Государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроем из Кубы, — я, один офицер нашего полка и черкес (мирный

разумеется), — и чуть не попались в плен лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные, а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом: лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам, хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы, да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе. Да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским.

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а, право, я расположен к этого рода жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта, я серьезно думал выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не забудь меня; и верь все-таки, что самой большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный М. Лермонтов».

Новый полк, о котором говорит Лермонтов в этом письме, был Гродненский, стоявший в Новгороде. Туда был переведен поэт Высочайшим приказом императора Николая, данным в Тифлисе, в 1837 году 11 октября, по ходатайству графа Бенкендорфа.

До отъезда в Россию Лермонтов успел побывать в местах, памятных ему с детства; так, он посетил в Шелкозаводске А. А. Хастатова, сына сестры бабушки, Екатерины Алексеевны. Хастатов был известный всему Кавказу храбрец; рассказы о похождениях его переходили из уст в уста. Случаи из жизни его послужили Лермонтову материалом для повести «Бэла», в которой изображен эпизод, бывший с Хастатовым, и для «Фаталиста», списанного с происшествия, бывшего с Хастатовым же в станице Червленой.

Старая военно-грузинская дорога особенно поразила поэта своими красотами и массой легенд. Тут именно зародилась в нем мысль перенести место действия поэмы «Демон» на Кавказ. До сей поры оно было в Испании.

В Пятигорске и Ставрополе Лермонтов познакомился с кружком декабристов, находившихся в отличных отношениях с доктором Н. В. Майером. Майер был замечательный человек, группировавший около себя лучших людей и имевший на многих самое благотворное влияние. С этого доктора Майера Лермонтов списал в повести своей «Княжна Мери» доктора Вернера, с которым Печорин тоже знакомился в С., то есть Ставрополе.

Кстати, вот какими словами передает г-н Висковатов воспоминание о Лермонтове декабриста Назимова, с которым поэт познакомился в Пятигорске:

«Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил нам о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь, через сорок лет, разговоры, которые мы вели, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о которых мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и за живое задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой вопрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли — да, впрочем, и молод же он был еще».

Странствия Лермонтова перед отправлением в Гродненский полк продолжались более четырех месяцев. Сначала по нездоровью он жил в Пятигорске; потом в Ставрополе, Елизаветграде и других городах; побывал в Москве и Петербурге. Здесь он был принят начальством благосклонно. Его не торопили с выездом в полк, и он жил у бабушки, посещая общество и театры.

Тогда в большом свете он был предметом общего интереса. Он сам говорил в письмах, что в первое время был решительно в моде, его вырывали друг у друга, и все, кого он оскорблял в стихах своих, осыпали его ласкательствами. Это подтверждает и Муравьев в своих воспоминаниях.

«Ссылка Лермонтова на Кавказ, — говорит он, — наделала много шума; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения.

Лермонтов, — читаем мы далее в тех же воспоминаниях, — возвращенный с Кавказа и преисполненный его вдохновениями, принят был с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву; на Кавказе было действительно где искать вдохновения: не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов, ибо в то время это было единственное место ратных подвигов нашей гвардейской молодежи, и туда были устремлены взоры и мысли высшего светского общества. Юные воители, возвращаясь с Кавказа, были принимаемы как герои. Помню, что конногвардеец Глебов, выпущенный из плена горцев, сделался предметом любопытства всей столицы. Одушевленные рассказы Марлинского рисовали Кавказ в самом поэтическом виде; песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду».

Будучи принят, таким образом, во многих петербургских салонах, наиболее дружеский прием Лермонтов находил в доме Карамзиных, у госпожи Смирновой, князя Одоевского и графини Ростопчиной. В то же время, вдохновленный своими успехами, с особенным жаром взялся он за перо, и это была эпоха самой плодотворной его деятельности. Так, кроме массы лирических произведений, в «Современнике» 1837 и 1838 годов были помещены «Бородино» и «Казначейша». Рассказ Панаева о том, что «Казначейша» была напечатана без разрешения поэта, опровергается письмом Лермонтова, из которого видно, что он сам отослал эту пьесу Жуковскому; но он мог быть недоволен какими-нибудь редакторскими или цензурными сокращениями, так как поэма была напечатана с очень многими пропусками. Неудовольствие это, по словам Панаева, выразилось в том, что, будучи у Краевского, он готов был разорвать книжку «Современника», где была напечатана «Казначейша», но Краевский не допустил этого.

«Это черт знает что такое! Позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжкою… — Это ни на что не похоже!

Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке „Современника“ набросал какую-то карикатуру…»

Но это была, очевидно, одна минутная вспышка против Жуковского, так как именно к этому времени относится сближение Лермонтова с последним. Жуковский пожелал видеть новое восходящее светило; Лермонтова представили ему, и, приняв дружественно молодого поэта, Жуковский подарил ему экземпляр «Ундины» с собственноручной надписью. Около того

же времени Жуковский принял горячее участие в судьбе «Песни о купце Калашникове», которая была выслана Лермонтовым с Кавказа в 1837 году Краевскому для помещения в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“». Цензура находила совершенно невозможным напечатать стихотворение человека, только что сосланного на Кавказ. Краевский обратился тогда к Жуковскому, который, будучи в восторге от «Песни», дал Краевскому письмо к министру народного просвещения. Уваров разрешил печатание под свою ответственность, не позволив, однако, выставить имени Лермонтова: «Песня» была подписана — «в».

Тогда же сблизился Лермонтов с Краевским. По словам Панаева, Лермонтов в это время (и в последующие годы своего пребывания в Петербурге) часто бывал у Краевского по утрам, привозя ему свои новые стихотворения. Он с шумом вбегал в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, подходил к столу, за которым глубокомысленно погруженный в корректуры сидел редактор, разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на «ты», и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:

— Ну, полно, полно… перестань, братец, перестань…

Когда Краевский приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхивал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его были очень непродолжительны…

Раз утром Лермонтов приехал к Краевскому и привез ему свое стихотворение: «Есть речи — значенье…», прочел его и спросил:

— Ну, что, годится?..

— Еще бы! Дивная вещь, — отвечал Краевский, — превосходно; но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность…

— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.

Из пламя и света
Рожденное слово…

— Это неправильно, не так, — возразил Краевский, — по-настоящему, по грамматике надо сказать: из пламени и света.

— Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, — ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности — и у Пушкина их много… Однако… (Лермонтов на минуту задумался)… дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался. Так прошло минут пять. Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук…

Приобретя «Отечественные записки» и начав издавать их под своею редакцией с 1 января 1839 года, Краевский не замедлил привлечь к сотрудничеству и Лермонтова. Кроме нескольких лирических стихотворений во второй книжке журнала был помещен рассказ «Бэла», а в четвертой — «Фаталист».

ГЛАВА X

Лермонтов в Новгороде. — Перевод в прежний полк. — Разочарование в великосветском обществе и современном поколении. — Воспоминания о Лермонтове И. С. Тургенева. — Маскарад в Дворянском собрании в ночь на 1 января 1840 года. — Новые тучи сгущаются над головою поэта. — Дуэль с де Барантом. — Заключение. — Свидание с Белинским. — Суд и новая ссылка на Кавказ.

В конце февраля 1838 года Лермонтов приехал, наконец, в Новгород, в свой полк, и остановился на одной квартире с Краснокутским. После столичных развлечений в захолустном Новгороде ему, конечно, пришлось испытывать самую убийственную скуку, заставившую его увлечься азартною игрою с товарищами и два раза проиграть значительные суммы. В течение полутора месяцев дважды он ездил в Петербург в отпуск на восемь дней. Между тем бабушка усиленно хлопотала через графа Бенкендорфа о переводе внука в прежний полк. Хлопоты эти увенчались успехом. Великий князь Михаил Павлович дал свое согласие, и 9 апреля 1838 года Лермонтов был переведен в лейб-гвардии гусарский полк.

Но возвращение к прежней жизни, вращавшейся между царскосельским кружком военных товарищей и петербургским бомондом, мало утешало Лермонтова. Жизнь эта утратила уже для него ту прелесть и поэзию, в которых до его ссылки на Кавказ главную роль играл первый пыл молодости. Та скука, которую испытывал Лермонтов в Новгороде, не покидала его и в Царском Селе, отражаясь и на его художественной производительности. «Я здесь по-прежнему скучаю, — пишет он 8 июля С. А. Раевскому, — ученье и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно».

Начало претить Лермонтову и все петербургское общество во всех его слоях, — пустое, ничтожное, скучающее, чуждое каких-либо высших интересов и руководящих идеалов. С каждым днем все более и более росло его озлобление против всех окружающих людей, — озлобление, заставлявшее его быть беспощадно язвительным и дерзким. Плодом этого настроения и была известная «Дума», относящаяся как раз к этому времени, преисполненная того мрачного пессимизма, с каким смотрел теперь поэт на все современное ему поколение.

Петербургское великосветское общество в свою очередь с

каждым днем все более и более раздражалось отношением к нему Лермонтова. Хотя Муравьев и говорит, что Лермонтов в это время был в моде, и его чуть ли не носили на руках, но, очевидно, он разумеет здесь лишь наиболее просвещенных людей, способных ценить в Лермонтове гения. Далеко не все принадлежали к этому числу. Положение поэта напоминало часто положение Пушкина в придворных кружках. Много у него было ненавистников, находивших, что, являясь в высших сферах, он «садился не в свои сани», а дерзость его еще более вооружала против него; и никак не могли простить, что молодой гвардейский офицерик выказывал независимость характера и презрительность в обращении с людьми, требовавшими поклонения и выражения униженного почтения. Немало способствовало неприязни к поэту внимание, оказываемое ему женщинами, в которых был влюблен весь петербургский бомонд, каковы были графиня Мусина-Пушкина и княгиня Щербатова, урожденная Штерич. Общая и с каждым днем возраставшая неприязнь к Лермонтову мужской части посетителей светских салонов рельефно выразилась в повести «Большой свет», написанной графом Соллогубом по желанию лиц из высших сфер.

Вот каким представлялся Лермонтов в это самое время И. С. Тургеневу, который говорит о нем в своих воспоминаниях:

«Лермонтова я видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш-ой, и несколько дней спустя на маскараде в Благородном собрании под новый 1840 год. У княгини Ш-ой я, весьма редкий, непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня М. П. — рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш-у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детских, нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное: но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени

изобразил самого себя в Печорине. Слова: „Глаза его не смеялись, когда он смеялся“ и т. д., действительно применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш. он любил как товарища, и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко, он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба.

На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки: одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки…
и т. д.»

Этот самый маскарад в Дворянском собрании в ночь на 1 января 1840 года имел для Лермонтова роковое значение. Здесь у него вышло столкновение с двумя высокопоставленными масками, явившимися в маскарад инкогнито, и хотя всем было известно, кто они такие, но, тем не менее, они были окружены надлежащим почтением. Заинтересованные молодым поэтом, проходя мимо него, они что-то сказали ему. Лермонтов не остался в долгу, он даже прошелся с пышными домино, смущенно поспешившими искать убежища. Выходка молодого офицера была для них совершенно неожиданной и представлялась до невероятия дерзновенною. Поведение Лермонтова являлось нарушением этикета, но обратить на это внимание и придать значение оказалось неудобным, ибо значило бы огласить то, что прошло незамеченным для большинства публики. Тем не менее, случай этот вооружил против Лермонтова и начальство, находившее, что поэт в поведении своем заходит за границы дозволяемого. Недавно возвращенный из ссылки и прощенный с тем условием, что он службою загладит вину, он был обязан держать себя скромно, а не ровнею среди «благосклонно»

допускавшего его общества. Даже и заниматься литературою ему не приличествовало: «надо было служить, а не писать стихов». Еще недавно, приказом от 6 декабря 1839 года, провинившегося офицера поощрили, произведя его в чин поручика. Но он не хотел понимать, чего от него требовали. Неблагодарный, он рвался из службы, желал выйти в отставку. Ему по-прежнему настоятельно отсоветовали. Он просился в годовой отпуск — отказали, на 28 дней — отказали, на 14 — тоже. Он просил о переводе на Кавказ — не позволили. После же случая в маскараде даже и граф Бенкендорф, прежде покровительствовавший ему, сделался его гонителем. Одним словом, над головой поэта со всех сторон сгущались черные тучи. Столкновение Лермонтова с сыном французского посланника, де Барантом, помогло им разразиться грозою.

Причина этого столкновения заключалась в том, что оба молодых человека ухаживали за княгиней Щербатовой (ей посвящена пьеса «На светские цепи»), но Лермонтов был осчастливлен предпочтением. Раздраженный этим де Барант, встретив Лермонтова 16 февраля 1840 года на балу графини Лаваль, обратился к нему с укором за то, что тот будто бы отозвался о нем неодобрительно и колко в присутствии особы, за которой они оба ухаживали. Лермонтов объявил это клеветой и сплетнями. Де Барант выразил недоверие к словам Лермонтова и прибавил, что «если переданное ему справедливо, то Лермонтов поступил дурно».

— Я ни советов, ни выговоров не принимаю и нахожу поведение ваше смешным и дерзким (drôle et impertinent), — отвечал Лермонтов.

— Если бы я был в своем отечестве, — заметил на это де Барант, — то знал бы, как кончить дело!

— Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы, русские, не больше других позволяем оскорблять себя безнаказанно, — возразил Лермонтов. Тогда со стороны де Баранта последовал вызов. Лермонтов тут же на балу просил к себе в секунданты Столыпина. Секундантом де Баранта был поручик гвардии граф Рауль д'Англес, французский подданный. Так как де Барант почитал себя обиженным, то Лермонтов предоставил ему выбор оружия. Когда же Столыпин приехал к де Баранту поговорить об условиях, молодой француз объявил, что будет драться на шпагах. Это удивило Столыпина. «Но Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах», — заметил он.

— Как же это офицер не умеет владеть своим оружием? — возразил де Барант. «Его оружие — сабля, — отвечал

Столыпин, — как кавалерийского офицера, и если вы уже того хотите, то Лермонтову следует драться на саблях. У нас в России не привыкли, впрочем, употреблять это оружие на дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело». Де Барант настаивал на своем. Порешили на том, что дуэль будет на шпагах до первой крови, потом на пистолетах. Для примирения противников, по уверению Столыпина, были приняты все меры, но тщетно, потому что де Барант настаивал на извинении, а Лермонтов не хотел извиняться. Дуэль состоялась. Противники со своими секундантами съехались за Черной речкой, близ Парголовской дороги. Шпаги привезли де Барант и д'Англес, пистолеты принадлежали Столыпину. Посторонних лиц при этом не было. В самом начале дуэли у шпаги Лермонтова переломился конец, и де Барант нанес ему рану в грудь. Рана была поверхностная — царапина, шедшая от груди к правому боку. По условию, взялись за пистолеты. Столыпин и граф д'Англес зарядили их, и противники были поставлены на расстоянии двадцати шагов. Они должны были стрелять по сигналу вместе; по слову «раз» — приготовиться, «два» — целиться, «три» — выстрелить. По счету «два» Лермонтов поднял пистолет не целясь. Барант целился. По счету «три» оба спустили курки. Выстрелы последовали так скоро один за другим, что нельзя было определить, чей был сделан прежде.

По окончании поединка Лермонтов заехал к Краевскому, который жил тогда у Измайловского моста. Здесь он обмыл рану. По рассказу Краевского, он был сильно окровавлен, но, несмотря на предложение приятеля, отказывался перевязать рану, а только переоделся в чистое его белье и попросил завтракать. Он был весел, шутил и сыпал остротами. Известие о дуэли быстро разнеслось по городу и дошло до полкового командира Лермонтова генерал-майора Плаутина, который потребовал от поэта объяснений. Лермонтов отвечал письмом, в котором выяснил обстоятельства дела. Его объяснениями не удовлетворились и поставили ему несколько вопросных пунктов. Лермонтов, однако, оказался не особенно откровенным, на одни вопросы отвечал уклончиво, на другие ничего не отвечал; в особенности упорно скрывал имя особы, из-за которой была дуэль. 10 марта Лермонтов был арестован и посажен в ордонанс-гауз…

В ордонанс-гауз, по словам кузена Лермонтова А. П. Шан-Гирея, к нему никого не пускали.

«Бабушка, — читаем мы в его воспоминаниях, — лежала в параличе и не могла выезжать; однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтобы иметь о нем ежедневный и достоверный

бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плац-майора, не помню хорошенько, барона З***, чтобы он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой и разрешил мне под своей ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу (меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс). Лермонтов не был печален; мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим, Андре Шенье, Гейне и ямбы Барбье; последние ему не нравились. Здесь написана была пьеса „Соседка“, только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, — я ее видел в окно, — но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери; я всегда около него ставил свою шпагу».

17 марта Лермонтова перевели в арсенальную гауптвахту на Литейной, где ныне казенный гильзовый завод. Здесь уже был свободный доступ к Лермонтову посетителей, и его навещали многие: товарищи, родные, великосветские знакомые и писатели. В это время виделся с ним и известный критик В. Г. Белинский; перед тем Белинский часто встречался с Лермонтовым у Краевского. Горячий поклонник его таланта, Белинский пробовал не раз заводить с поэтом серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всегда отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение и жаловался потом на то, что Лермонтов нарочно щеголял светскою пустотою: «Сомневаться в том, что Лермонтов умен, было бы довольно странно, но я ни разу не слыхал от него дельного и умного слова».

Узнав от Краевского об аресте Лермонтова, Белинский решился навестить его. «Я попал очень удачно, — рассказывал он Панаеву, — у него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком! Вы знаете мою светскость и ловкость: я вошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая! Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать,[5] он меня… Что еще связывает нас немного, так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры… Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не более четверти часа… Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской

литературе и Вальтер Скотте… „Я не люблю Вальтер Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух“, и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою… В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом — и, что удивило меня, даже с увлечением… Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом».

В этой четырехчасовой беседе Лермонтов открыл Белинскому свои литературные планы, и не удивительно, что впечатлительный Белинский, придя после нее прямо к Панаеву, сохранял на лице своем все восхищение, вызванное прошедшим разговором. Тогда-то, должно быть, Лермонтов сообщил Белинскому свой замысел написать романтическую трилогию — три романа из трех эпох жизни русского общества (век Екатерины II, Александра I и современной ему эпохи). Эти романы должны были иметь между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинавшейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыню», «Пионерами» и оканчивающейся «Степями».

«Недавно я был у Лермонтова в заточении, — пишет Белинский около того времени Боткину, — в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного. О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!»

Впоследствии, в конце 1840 и в начале 1841 года, Белинский не раз виделся с Лермонтовым, но серьезных разговоров с ним более не вел.

Сидя на арсенальной гауптвахте, Лермонтов написал пьесу «Журналист, читатель и писатель», помеченную 21-м марта.

Дело Лермонтова между тем шло своим путем и принимало недурной для него оборот благодаря хлопотам бабушки и сильной протекции родственников. Да и сами обстоятельства дела все слагались в пользу поэта. Он не вызывал, а был вызван и дуэль принял как бы для того, чтобы «поддержать честь русского офицера», по выражению определения, составленного генерал-

аудиториатом. Выстрелил Лермонтов в воздух, следовательно, не желал убить де Баранта, что в юридическом смысле имеет большой вес. Выясненные обстоятельства дела побуждали к освобождению Лермонтова от обвинения в намерении убить противника, но показание Лермонтова, что он стрелял в сторону, дошедши до де Баранта, страшно возмутило последнего: он вовсе не желал считать себя обязанным великодушию противника и заявлял, что, распуская такие слухи, Лермонтов лгал. Извещенный о том Лермонтов тотчас решился попросить к себе де Баранта для личных объяснений и написал письмо графу Браницкому, прося его передать Баранту желание свидеться с ним в помещении арсенальной гауптвахты. Барант согласился, но он не мог открыто явиться к Лермонтову, так как официально считался выбывшим за границу и оставался в Петербурге лишь инкогнито. Свидание поэтому должно было иметь характер секретного.

22 марта в восемь вечера де Барант подъехал к арсенальной гауптвахте верхом на лошади. В карауле тогда стоял прикомандированный к гвардейскому экипажу мичман 28-го экипажа Кригер, дежурным по караулу был капитан-лейтенант гвардейского экипажа Эссен. Ни офицеры, ни нижние чины (как они позднее показывали) не заметили выхода Лермонтова. Вот как сам Лермонтов писал об этом свидании.

«В 8 часов вечера я вышел в коридор между офицерскою и солдатскою караульными комнатами, не спрашивая караульного офицера и без конвоя, который ведет и наверх в комиссию. Я спросил его (де Баранта), правда ли, что он не доволен моим показанием? Он отвечал: „Действительно, я не знаю, почему вы говорите, что стреляли на воздух, не целясь“. Тогда я ответил, что говорю это по двум причинам: во-первых, потому что это правда, а во-вторых, что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему неприятна, а мне может служить в пользу, но что если он не доволен этим моим объяснением, то когда я буду освобожден, и когда он возвратится, то я тогда буду вторично с ним стреляться, если он того желает. После того де Барант, ответив мне, „что он драться не желает, ибо совершенно удовлетворен моим объяснением“, уехал».

Неизвестно, каким образом известие о тайном свидании двух соперников дошло до сведения начальства, но только это удовольствие личного объяснения стоило Лермонтову нового процесса, и его судили теперь за побег из-под ареста обманом и за вторичный вызов на дуэль во время нахождения под арестом.

Военный суд, состоявшийся 5 апреля того же 1840 года, приговорил Лермонтова к лишению чинов и прав состояния.

С этою сентенцией дело о Лермонтове шло по инстанциям. Генерал-аудиториат, выслушав доклад аудиториатского департамента по этому делу, составил следующее определение: «Подсудимый Лермонтов, за свои поступки, на основании законов, подлежит лишению чинов и дворянского достоинства, с записанием в рядовые; но, принимая во внимание: а) то, что он, приняв вызов де Баранта, желал тем поддержать честь русского офицера; б) дуэль его не имела вредных последствий; в) выстрелив в сторону, он выказал тем похвальное великодушие, и г) усердную его службу, засвидетельствованную начальством, генерал-аудиториат полагает: 1) Лермонтову, вменив в наказание содержание его под арестом с 10 марта, выдержать его еще под арестом в крепости на гауптвахте три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином; 2) поступки Столыпина и графа Браницкого передать рассмотрению гражданского суда; 3) капитан-лейтенанту гвардейского экипажа дежурному по караулу Эссену, за допущение беспорядков на гауптвахте, объявить замечание и 4) мичману Кригеру, бывшему также на карауле в арсенальной гауптвахте, в уважение молодых его лет, вменить в наказание содержание его под арестом».

Определение генерал-аудиториата являлось даже мягким сравнительно с требованиями начальствующих лиц. В этом случае смягчением приговора поэт был обязан великому князю Михаилу Павловичу, которому особенно понравилось, что молодой офицер вступился перед французом за честь русского воинства. Приговор был подан на Высочайшую конфирмацию. Прочитав подробный доклад о дуэли Лермонтова, государь-император Николай Павлович своею рукою на решении генерал-аудиториата надписал следующую конфирмацию: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк, тем же чином, поручика же Столыпина и графа Браницкого освободить от надлежащей ответственности, объявить первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. В прочем быть по сему. Николай.

Санкт-Петербург 1840 г. апреля 13 дня».

На обертке написано рукою государя: «Исполнить сего же дня».

Однако с отправкой Лермонтова замешкались; не знали, как привести в исполнение Высочайшее повеление. Начальник штаба гвардейского корпуса генерал-адъютант Веймарн объяснил военному министру графу Чернышеву, что генерал-аудиториат предполагал выдержать Лермонтова три месяца в крепости и что из Высочайшей конфирмации не видно, следует ли это исполнить. Военный министр 19 апреля послал отношение об

этом его высочеству великому князю Михаилу Павловичу как командиру гвардейского корпуса с извещением, что входил с докладом о деле сем к Его Величеству и что государь изволил сказать, что переводом Лермонтова в Тенгинский полк желал ограничить наказание.

Но, избегнув заключения в крепости, Лермонтов испытал еще одну напасть. Его вызвали к графу Бенкендорфу, и тот настоятельно потребовал, чтобы Лермонтов написал письмо к де Баранту, в котором заявил бы, что несправедливо показал в суде, что стрелял на воздух. Такое письмо могло навсегда уронить поэта в мнении света и сделало бы положение в нем невозможным. Тогда Лермонтов решился опять обратиться к защите великого князя Михаила Павловича и написал ему письмо, в коем, объяснив требование графа Бенкендорфа, говорит, что исполнить его не может, потому что оно несовместимо с истиной, и что, исполнив его, он (Лермонтов) «невинно и невозвратно теряет имя благородного человека». Великий князь вполне согласился с необходимостью защитить «честь русского офицера», и поэт вновь избегнул великой опасности утратить свое доброе имя вследствие недостойной интриги.

Друзья и приятели собрались на квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью собравшегося кружка, стоя у окна и глядя на тучи, он написал стихотворение «Тучки небесные…»

Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он окинул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез. Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома.

Пьеской «Тучи» поэт заключил и первое издание своих стихотворений, вышедшее в конце 1840 года.

ГЛАВА XI

Лермонтов в Ставрополе. — Отправление в действующую армию. — Походная жизнь. — Предводительство отрядом Дорохова. — Бой под Валериком. — Отзывы сослуживцев. — Встреча с французскою писательницею Гоммер де Гелль и тайное путешествие в Крым.

По приезде на Кавказ, в Ставрополь, Лермонтов был назначен в действующий против чеченцев отряд генерала Галафьева на левом фланге кавказской линии. Смелые действия Шамиля и попытка русских обезоружить чеченцев взволновали к этому времени все дикое население Большой и Малой Чечни. В 1840 году решено было перенести кубанскую линию на реку Лабу и затем заселить местность между реками Кубанью и Лабой казаками. Для осуществления этого предприятия должны были действовать два отряда: на правом фланге линии лабинский отряд генерал-лейтенанта Засса и на левом — чеченский отряд генерал-лейтенанта Галафьева. Над обоими отрядами начальствовал генерал-адъютант П. Х. Граббе.

До отправления на место военных действий Лермонтов проживал в Ставрополе, среди очень интересного общества, сходившегося большею частью у капитана генерального штаба барона И. А. Вревского; здесь кроме Лермонтова и Монго-Столыпина можно было видеть графа Карла Ламберти, Сергея Трубецкого (брата Воронцовой-Дашковой), Льва Сергеевича Пушкина, Р. Н. Дорохова, Д. С. Бибикова, барона Россильона, доктора Майера и нескольких декабристов, из числа которых Михаил Александрович Назимов являлся особенно любимой всеми личностью. К Вревскому и Назимову Лермонтов относился с уважением и «с ними никогда не позволял себе тона легкой насмешки», которая зачастую отмечала его отношения к другим лицам. «Со мною, как с младшим в избранной среде упомянутых лиц, Лермонтов школьничал до пределов возможного, — рассказывает г-н Есаков, — а когда замечал, что теряю терпение, он, бывало, ласковым словом или добрым взглядом тотчас уймет мой пыл».

В половине июня Лермонтов отправился наконец в отряд Галафьева, в крепость Грозную. 6 же июля отряд Галафьева выступил в экспедицию на Малую Чечню, переправился через реку Сунжу и прошел через ущелье Хан-Калу.

Неприятель там и сям показывался на пути отряда, но дело

ограничивалось незначительными перестрелками. Лермонтов в этом походе сблизился с прапорщиком Р. Н. Дороховым, отчаянным храбрецом и повесой, который за свои шалости и удалые проказы чуть ли не три раза был разжалован в солдаты. Этот Дорохов составил команду человек во сто из казаков, татар, кабардинцев — словом, людей всех племен; были и такие, что и сами забыли, откуда родом. Отчаянные удальцы-головорезы, закаленные в схватках с горцами, они смотрели на войну как на ремесло. Опасность, удальство, лишения и разгул были их лозунгом. Огнестрельное оружие они презирали и резались шашками и кинжалами, в удалых схватках, врукопашную. Раненный во время экспедиции Дорохов поручил отряд свой Лермонтову, который умел привязать к себе людей, совершенно входя в их образ жизни. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода. В последний приезд свой в Петербург Лермонтов рассказывал об этой своей команде А. А. Краевскому и подарил ему кинжал, служивший ему в походе.

В официальных донесениях об этой экспедиции, при представлении Лермонтова к награде, было сказано: «Ему была поручена конная команда из казаков-охотников, которая, находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля и, выдерживая его натиски, весьма часто обращала в бегство сильные партии».

Боевой и весьма умный генерал П. Х. Граббе высоко ценил Лермонтова как талантливого, дельного и храброго офицера. Но были у Лермонтова и враги. Так, старший офицер генерального штаба барон Л. В. Россильон сообщил г-ну Висковатову свои воспоминания о Лермонтове в таком роде:

«Лермонтов был неприятный, насмешливый человек и хотел казаться чем-то особенным. Он хвастал своею храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею.

Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда. Длилось это недолго, впрочем, потому что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда-то и ничего не доводил до конца. Когда я его видел на Сулаке, он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта, который носил он без эполет, что, впрочем, было на Кавказе в обычае. Гарцевал Лермонтов на

белом как снег коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодечество! — ибо кто же кидался на завалы верхом?! Мы над ним за это смеялись».

Между прочим, барон возмущался и тем, что Лермонтов ходил тогда небритым. На профильном портрете в фуражке, сделанном в это время бароном Паленом, действительно видно, что поэт в походе отпустил баки и не брил волос и на подбородке. Это было против формы, но растительность у Лермонтова на лице была так бедна, что не могла возбудить серьезного внимания строгих блюстителей уставов. Впрочем, на Кавказе можно было дозволять себе отступления. На другом портрете, писанном самим поэтом тоже на Кавказе (в конце 1837 года), видно, что и волосы на голове носил он длинные, не зачесывая их на висках, как по уставу полагалось.

Надо, впрочем, правду сказать, Лермонтов нередко выказывал безумное и совершенно никому не нужное удальство, действительно, словно лишь для того, чтобы порисоваться. Ему доставляло, как будто, особенное удовольствие испытывать судьбу. Опасность или возможность смерти делали его остроумным, разговорчивым, веселым. Однажды вечером, во время стоянки, он предложил некоторым лицам в отряде: Льву Пушкину, Глебову, Палену, Сергею Долгорукову, декабристу Пущину, Баумгартену и другим — пойти поужинать за черту лагеря. Это было небезопасно и запрещалось. Неприятель охотно выслеживал неосторожно удалявшихся от лагеря и либо убивал, либо увлекал в плен. Компания взяла с собою нескольких денщиков, несших запасы, и расположилась в ложбинке за холмом. Лермонтов, руководивший всем, уверял, что, наперед избрав место, выставил для предосторожности часовых и указывал на одного казака, фигура коего виднелась сквозь вечерний туман в некотором отдалении. С предосторожностями был разведен огонь, причем особенно старались сделать его незаметным со стороны лагеря. Небольшая группа людей пила и ела, беседуя о происшествиях последних дней и возможности нападения со стороны горцев. Лев Пушкин и Лермонтов сыпали остротами и комическими рассказами, причем не обошлось и без резкого осуждения или скорее осмеяния разных всем присутствующим известных лиц. Особенно весел и в ударе был Лермонтов. От выходок его катались со смеху, забывая всякую осторожность. На этот раз все обошлось благополучно. Под утро, возвращаясь в лагерь, Лермонтов признался, что видневшийся часовой был не что иное, как поставленное им наскоро сделанное чучело, прикрытое тонкой старой буркой.

10 июля подошли к деревне Гехи, близ Гехинского леса, и, предав огню поля, стали лагерем. Неприятель пытался было подкрасться к нему ночью, но был открыт секретами и ретировался. На заре 11 июля отряд двинулся. Неприятель нигде не показывался, и авангард вступил в густой Гехинский лес и пошел по узкой лесной дороге. Несколько выстрелов в боковой цепи только указывали, что неприятель не дремлет. Опасность ждала впереди… Приходилось пройти большую, окаймленную со всех сторон лесом поляну. Впереди виднелся Валерик, то есть «речка смерти», названная так старинными людьми в память кровопролитной стычки на ней. Валерик протекал по самой опушке леса, меж глубоких, совершенно отвесных берегов. Воды в речке, пересекавшей дорогу под прямым углом, было много. Правый берег ее, обращенный к отряду, был совершенно открыт, по левому тянулся лес, вырубленный около дороги на небольшой ружейный выстрел. Тут было удобное место для устройства неприятельских завалов. Они и были, как оказалось, им устроены из толстых срубленных деревьев. Как за бруствером крепости, стоял враг, защищаемый глубоким водяным рвом, образуемым речкою.

Подойдя к месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь. Ни одного ответного выстрела; ни малейшего движения не было заметно. Местность казалась вымершею. Весь отряд двинулся еще вперед и подошел к лесу на ружейный или пистолетный выстрел. Было решено сделать привал; пехота же должна была проникнуть в лес и обеспечить переправу. Но едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы внезапно со всех сторон открыли убийственный огонь.

В одно мгновение войска двинулись вперед с обеих сторон дороги. Добежав до леса, они неожиданно были остановлены отвесными берегами речки и срубами из бревен, приготовленными неприятелем за трое суток до столкновения. Отсюда-то он и производил убийственный огонь. Били на выбор офицеров и солдат, двигавшихся по открытой местности. Войска поняли, что стрелять в людей, прикрытых деревьями, имевшими по аршину в поперечнике, — дело напрасное… кинулись вперед через речку, помогая друг другу, по грудь в воде. Все спасение было в том, чтобы как можно скорее перебраться к неприятелю. Начался упорный рукопашный бой, частью в лесу, частью в водах быстро текущего Валерика. Резались несколько часов. Кинжал и шашка уступили наконец штыку. Но долго еще в лесу слышались выстрелы… Дело было небольшое, но кровопролитное.

«Вообрази себе, — пишет Лермонтов А. А. Лопухину, — что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью». В том

же письме поэт говорит, что «в русском отряде убыло 30 офицеров и 300 рядовых. Чеченцев осталось на месте 600 трупов».

Последнее известие, конечно, преувеличено. Вероятно, так говорили в лагере. Чеченцы находились за прикрытиями, и потери их должны были быть меньше наших. По крайней мере в официальном донесении Галафьева говорится, что неприятель на месте оставил 150 тел.

Хотя Лермонтов ни в стихотворениях, ни в письмах не упоминает о роли, какую играл он лично в боях, но что он принимал в них участие активное и был не из последних удальцов, видно из донесения Галафьева Граббе 8 октября 1840 года. Там говорится так:

«Тенгинского пехотного полка Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

За дело под Валериком для Лермонтова испрашивался орден Св. Владимира четвертой степени с бантом, что в те времена для столь молодого человека являлось высокою наградою.

Экспедиция, длившаяся девять дней, окончилась, и 14 июля отряд генерала Галафьева вернулся в Грозную. Отдых продолжался, однако, недолго. Недобрые вести о действиях Шамиля принуждают отряд снова выйти в поход. Он двинулся через крепость Внезапную к Мятелинской переправе и, простояв здесь лагерем, направился к Темир-Хан-Шуре. Серьезных столкновений не было. Горцы рассеялись с приближением наших войск, и Галафьев, окончив работы по укреплению Герзель-аула, вернулся к Грозной 9 августа.

Вскоре после того Лермонтов уехал из отряда на отдых в Пятигорск. Здесь время он проводил очень весело в ухаживании за разными женщинами. Так, сначала он ухаживал за некоей девицей Ребровой, которая была серьезно влюблена в него. Затем он оставил Реброву в покое и увлекся приехавшей на кавказские воды красивой французской писательницей Гоммер де Гелль. Он до того заинтересовался ею, что отправился за нею с Кавказа в Крым, и, по-видимому, тайком от начальства, без отпуска. В Ялте он был в двадцатых числах октября. Из Ялты он и Гоммер де Гелль ездили в Ореанду, Алупку, Мисхор и Кореис.

«На дороге, — рассказывает Гоммер де Гелль в своих

воспоминаниях, — я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей кавалькады. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Лампад. Мы приютились в биллиардном павильоне, принадлежащем, по-видимому, генералу Бородину, к которому мы ехали. Киоск стоял, одинок и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли биллиард с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю в русскую партию. Затаившись в павильоне и желая окончить затеянную игру, мы спокойно смотрели, как нас искали по роще. Я, подойдя к окну, заметила бегавшего по всем направлениям Тет-Бу де Мариньи (одного из спутников). Окончив преспокойно партию, когда люди стали приближаться к павильону, Лермонтов вдруг вскрикнул: „Они нас захватят! Ай, ай, ваш муж! Скройтесь живо под биллиардом!“ — и, выпрыгнув в окно в виду собравшихся людей, сел на лошадь и ускакал в лес. На меня нашел столбняк; я ровно ничего не понимала. Мне и в ум не приходило, что это была импровизированная сцена из водевиля. Тет-Бу де Мариньи объяснил это взбалмошным характером Лермонтова. Г-н де Гелль спокойно сказал, что Лермонтов, очевидно, школьник, но величайший поэт, каких в России еще не бывало». Потом Лермонтов объяснил свою выходку. «Ему вдруг, — говорит Гоммер де Гелль, — сделалось противным видеть меня, сидящую рядом с генералом Бородиным (куда они ехали на обед). Ему стало невыносимо скучно, что я буду сидеть за обедом вдали от него. Он не мог выносить приторных ласк этого приторного франта времени Реставрации. У него также поэтическое воображение, что он все это видел в биллиардном павильоне, когда мы там были вдвоем, и выпрыгнул в окно, увидав своего венецианского мавра. Его объяснение очень мило… Я его слушала и задыхалась. Он… так ревнив, что становится смешно, если бы не было так жаль его…»

После этого Лермонтов заезжал не раз из Ялты в Мисхор, где на даче, принадлежавшей Ольге Нарышкиной, жила Гоммер де Гелль с мужем. Поэт болтал с нею, шутил и смеялся и, между прочим, написал ей очень звучное французское стихотворение («Près d'un bouleau qui balance»[6]), которое Гоммер де Гелль ставила даже выше стихов, ранее для нее написанных Альфредом де Мюссе. Гоммер де Гелль передает, что Лермонтов уверял ее вполне серьезно, что только три свидания с обожаемой женщиной ценны: первое — для самого себя, второе — для удовлетворения любимой женщины, а третье — для света.

По словам Гоммер де Гелль, Лермонтов очень боялся, чтобы в Петербурге не узнали про то, что он с Кавказа заезжал в Крым: «его карьера от этого могла бы пострадать». Поэтому Гоммер де

Гелль писала своей подруге, чтобы та не упоминала об этом Баранту (брату того, с которым стрелялся поэт). Его знакомая, графиня В., бывшая в это время в Крыму, обещала Лермонтову о его пребывании в Ялте не писать ни полслова в Петербург. И действительно, пребывание Лермонтова в Крыму в 1840 году осталось неизвестным в Петербурге в то время, и даже впоследствии об этом не знал ни один из биографов и лиц, писавших о поэте. Наконец Гоммер де Гелль распрощалась с Лермонтовым и уехала с мужем на шхуне к западному берегу Черного моря. Памятником ее отношения к Лермонтову служат ее французские стихи в «Journal d'Odessa» (1840, № 164). Вскоре, как надо полагать, вернулся из Ялты на Кавказ и Лермонтов.

ГЛАВА XII

Последний приезд в Петербург. — Светские развлечения и литературные занятия. — Начало сознательного отношения к своему призванию. — Мечты об отставке и основании журнала. — Новые неприятности с начальством и внезапная высылка на Кавказ. — Лермонтов в Москве. — Встреча с поэтом Боденштедтом и воспоминания последнего о Лермонтове. — Как Лермонтов попал в Пятигорск.

Между тем, как Лермонтов на Кавказе выказывал чудеса храбрости и ухаживал за русскими и иностранными красавицами, бабушка усиленно хлопотала если не об отставке внука, то хотя бы об отпуске и дозволении ему приехать в столицу для свидания с нею. Хлопоты эти велись теперь уже не через графа Бенкендорфа, продолжавшего относиться к поэту с непримиримою враждою, а через военного министра и дежурного генерала Клейнмихеля и увенчались успехом лишь в начале 1841 года, Лермонтов же смог приехать в Петербург только на масленице.

Поездка в столицу и свидание с родными и друзьями оживили Лермонтова, прояснили и ободрили его дух, рассеяв на время тучи хандры, и он с возродившимся юношеским пылом закружился в вихре светских развлечений.

«Три-четыре месяца, — говорит графиня Ростопчина в своих воспоминаниях о поэте, — проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке; он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости.

Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман, под заглавием „Штосс“, причем он рассчитал, что ему понадобится, по крайней мере, четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники собрались, числом около тридцати. Наконец Лермонтов входит с огромною тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, а затем началось чтение; спустя четверть часа оно было окончено.

Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился, и никогда не был окончен».

Между тем, талант Лермонтова видимо развивался, проявляясь с каждым новым произведением все с большею силою и совершенством. Ко времени приезда Лермонтова в Петербург появился в свет в отдельном издании «Герой нашего времени» в двух частях и первое издание его лирических произведений. Замечательно, что название «Герой нашего времени» принадлежит Краевскому; Лермонтов же первоначально озаглавил роман «Один из героев нашего времени», — и очень жалко, что он согласился на изменение Краевского, так как первоначальное заглавие более соответствовало значению в жизни того времени Печорина, который вовсе не олицетворял всю интеллигенцию 30-х годов, а был именно одним из ее героев.

В то же время по возвращении в Петербург Лермонтов в глазах всех своих литературных знакомых начал обнаруживать гораздо большую степень сознательности по отношению к своему призванию, чем прежде. С одной стороны, в нем появилось стремление отрешиться от всякой подражательности западным образцам и встать на вполне самостоятельную почву; с другой — созревало решение всецело посвятить себя литературной деятельности и даже выйти для этого в отставку. Он мечтал об основании журнала и часто говорил с Краевским, не одобряя направления «Отечественных записок».

«Мы, — говорил он Краевскому, — должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там, на Востоке, тайник богатых откровений». Хотя Лермонтов в это время часто видался с Жуковским, но литературное направление и идеалы его не удовлетворяли юного поэта. «Мы в своем журнале, — говорил он, — не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами да еще не говорит, откуда берет их».

Но, к сожалению, поэту скоро пришлось убедиться, что на выход в отставку надежды мало, что к нему в правящих сферах чрезвычайно нерасположены. Из представления к награде за боевую службу во время экспедиции 1840 года ничего не вышло.

«Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули!» — пишет поэт в конце февраля. Напрасно генерал-адъютант Граббе снова (от 5 марта 1841 года) настойчиво ходатайствует о награждении Лермонтова, на этот раз золотою саблей.

К довершению всего, Лермонтов тотчас по приезде в Петербург имел несчастие настроить против себя начальство. На масленой, на другой же день после прибытия в столицу, поэт присутствовал на балу, данном графиней Воронцовой-Дашковой. Его армейский мундир с короткими фалдами сильно выделял его из толпы гвардейских мундиров. Граф Соллогуб хорошо помнил недовольный взгляд великого князя Михаила Павловича, пристально устремленный на молодого поэта, который крутился в вихре бала с прекрасною хозяйкою вечера. Великий князь, очевидно, несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот несся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом препроводила его из дому. В этот вечер поэт не подвергся замечанию. Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимала всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что тот не знал ничего о бале, и наконец апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих. Нелегко было затем выпросить у великого князя забвение этому проступку Лермонтова.

Считалось в высшей степени дерзким и неприличным, что опальный офицер, отбывающий наказание, смел явиться на бал, на котором были члены императорской фамилии. К тому же, кажется, только накануне приехавший поэт не успел явиться «по начальству» ко всем, к кому следовало. На этот раз вознегодовали на Лермонтова граф Клейнмихель и все военное начальство. Но так как великий князь, строгий во всех делах нарушения уставов, молчал, то было неудобно привлечь Лермонтова к ответственности за посещение бала в частном доме. Тем не менее этот промах был зачтен ему и повлек за собою распоряжение начальства о скорейшем возвращении Лермонтова на место службы.

«Как-то вечером, — рассказывал А. А. Краевский, — Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений. Мы расстались в самом веселом и мирном настроении. На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он в буквальном смысле слова катался по нему в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. „Что с тобою?“ — спрашиваю

Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки — любил школьничать!..

Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: „Да скажи ты ради Бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!..“ Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. „Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга“. Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку».

Не ограничиваясь этим, граф Бенкендорф успел убедить военного министра послать на Кавказ предписание (от 30 июня 1841 года) поручика Лермонтова ни под каким видом не удалять из фронта полка, то есть не прикомандировывать ни к каким отрядам, назначаемым в экспедицию против горцев. Таким образом, поэт и не подозревал, что ему отрезается всякий путь к выслуге. О предписании этом Лермонтов, вероятно, так и не узнал, потому что, покуда оно пошло по инстанциям и прибыло к месту назначения, Лермонтова не было уже в живых.

Нечего было делать; надо было готовиться к отъезду. В квартире Карамзиных еще раз собрались друзья, как за год перед тем, проститься с поэтом. По свидетельству многих очевидцев, Лермонтов во время прощального ужина был чрезвычайно грустен и говорил о близкой ожидавшей его смерти. За несколько дней перед этим Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге ворожею, жившую у Пяти углов, и предсказавшую смерть Пушкина от «белого человека»; звали ее Александра Филипповна, почему она носила прозвище Александра Македонского. Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказала его товарищу, со своей стороны спросил: будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». Лермонтов очень этому смеялся, тем более что вечером того же дня получил отсрочку отпуска и опять возмечтал о вероятии отставки. «Уж

если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят», — говорил он. Но когда нежданно пришел приказ поэту ехать, он был сильно поражен. Припомнилось ему предсказание. Грустное настроение стало еще заметнее, когда после прощального ужина Лермонтов уронил кольцо, взятое у С. Н. Карамзиной, и, несмотря на поиски всего общества, из которого многие лица слышали, как оно катилось по паркету, его найти не удалось.

В конце апреля или начале мая Лермонтов тронулся в путь. В почтамт, откуда отправлялся малпост в Москву, Лермонтов, не терпевший проводов, прибыл с Шан-Гиреем, который и принял от уезжающего поэта последнее «прости» бабушке и петербургским друзьям. Отъезжающий поэт наружно был весел и шутил. Своему раздражению против графа Бенкендорфа поэт дал волю, написав по его адресу восемь стихов.

На пути к Кавказу Лермонтов не преминул заехать в Москву, где сердечно принял его круг друзей, и поэт почувствовал себя хорошо.

«Я от здешнего воздуха потолстел в два дня, — пишет он бабушке, — решительно, Петербург мне вреден». Лермонтов проводил время у Розена, Анненковых, у Мамоновой, Лопухиных, виделся со Столыпиными. В кругу молодежи в ресторане встретил его тогда и немецкий поэт Боденштедт.

«…Мы были уже за шампанским, — говорит Боденштедт в своих воспоминаниях. — Снежная пена лилась через край стаканов, и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты.

— А! Михаил Юрьевич! — вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера.

Он приветствовал их коротким „здравствуйте“, слегка потрепал Олсуфьева по плечу и обратился к князю (А. И. Васильчикову) со словами:

— Ну, как поживаешь, умник?

У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на пол бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такою ловкостью, как будто был вовсе без костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки.

Гладкие, белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека.

Одет он был не в парадную форму; на шее небрежно повязан

черный платок; военный сюртук не нов и не до верху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести белье. Эполет на нем не было.

Мы говорили до тех пор по-французски, и Олсуфьев представил меня на том же диалекте вошедшему. Обменявшись со мною несколькими беглыми фразами, офицер сел с нами обедать. При выборе кушаний и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих — чтоб не сказать у всех — русских, но которые в устах нового гостя неприятно поражали меня. Поражали потому, что гость этот был — Михаил Юрьевич.

Во время обеда я заметил, что Лермонтов не прятал под стол своих нежных, выхоленных рук. Отведав нескольких кушаний и осушив два стакана вина, он сделался очень разговорчив и, надо полагать, много острил, так как слова его были несколько раз прерываемы громким хохотом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и к тому же чрезвычайно скоро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что остроты его часто переходили в личности; но, получив раза два меткий отпор от Олсуфьева, он счел за лучшее упражняться только над молодым князем.

Некоторое время тот добродушно переносил шпильки Лермонтова; но, наконец, и ему уже стало невмочь, и он с достоинством умерил его пыл, показав, что при всей ограниченности ума, сердце у него там же, где и у других людей.

Казалось, Лермонтова искренно огорчило, что он обидел князя, своего товарища, и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел.

Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедшему в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись с ним. Весь разговор, с самого его прихода, звенел у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу…

У меня правило, — говорит Боденштедт далее, — основывать свое мнение о людях на первом впечатлении; но в отношении Лермонтова мое первое, неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным. Не далее как на следующий же вечер, встретив снова Лермонтова в салоне госпожи М., я увидел его в самом привлекательном свете. Лермонтов вполне умел быть милым».

Выехал Лермонтов из Москвы с А. А. Столыпиным. Ехали до Ставрополя очень долго по причине скверной дороги. В

Ставрополе Лермонтов представился генералу П. Х. Граббе, который вскоре выехал в отряд за реку Лабу, а Лермонтов испросил позволения остаться на несколько дней в Ставрополе, обещаясь догнать отряд за Лабой. В это время через Ставрополь проезжал в качестве ремонтера[7] П. И. Магденко, который, проехавши затем от Ставрополя до Пятигорска по одному пути с Лермонтовым и Столыпиным, несколько раз встречал их на разных станциях и оставил воспоминания об этих встречах. Из этих воспоминаний мы можем заключить, что Магденко послужил отчасти слепым орудием судьбы Лермонтова, возбудив в нем желание ехать в Пятигорск, где его ожидала близкая смерть. Дело было на станции, в крепости Георгиевской.

«Вошедший смотритель, — говорит Магденко в своих воспоминаниях, — на приказание Лермонтова запрягать лошадей отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер. Я со своей стороны также стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, утверждая что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки заночевать. Принесли что у кого было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объясняли, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в „экспедициях против горцев“. Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде доступны не будут…

На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: „Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен), поедем в Пятигорск“. Столыпин отвечал, что это невозможно. „Почему? — быстро спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшенко, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск!“ С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоит от Георгиевского на расстоянии 40 верст, по

тогдашнему — один перегон.

Столыпин сидел задумавшись. „Ну что, — спросил я его, — решаетесь, капитан?“ — „Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. Вон, — говорил он, указывая на стол, — наша подорожная, а там инструкция — посмотрите“. Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том сожалею.

Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном:

— Столыпин, едем в Пятигорск! — С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: „Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?“

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: „В Пятигорск, в Пятигорск! позвать людей, нам уже запрягли!“ Люди, два дюжих татарина (грузина?), узнав в чем дело, упали перед господами и благодарили их, выражая непритворную радость. „Верно, — думал я, — нелегка пришлась бы им жизнь в отряде“».

Вот какими судьбами попал Лермонтов в злополучный для него Пятигорск.

ГЛАВА XIII

Жизнь Лермонтова в Пятигорске. — Тоска, предчувствие смерти и вместе с тем школьнические шалости. — Город разделяется на две партии. — Интрига врагов. — Личность Мартынова. — Столкновение с ним поэта. — Дуэль. — Смерть и похороны.

Внезапное решение Лермонтова отправиться в Пятигорск явилось поступком самовольным, и первым делом поэта по приезде было оформить пребывание там. С этою целью он подал в комендантское управление рапорт о болезни, вследствие которого была немедленно образована особая комиссия под председательством главного врача. Комиссия освидетельствовала Лермонтова в конторе пятигорского военного госпиталя и признала его действительно больным и «подлежащим лечению минеральными водами». Эта оговорка была очень важна, так как без нее Лермонтову пришлось бы отправиться в георгиевский военный госпиталь. Хотя ставропольский и тифлисский штабы сначала и не утвердили этого распоряжения, но после письма, написанного Лермонтовым к главному начальнику Кавказского края, генералу Е. А. Головину, поэту окончательно было позволено остаться в Пятигорске.

Написав первый рапорт свой о болезни, Лермонтов в тот же день переселился из гостиницы Вастаки, где первоначально остановился, в дом Чиляева, находившийся на краю города, на верхней площадке, недалеко от подошвы Машука. Наружность домика была самая незатейливая, походя на казацкие домики в слободках Пятигорска. Стены его снаружи были вымазаны глиной и выбелены; над тростниковой крышей возвышалась единственная труба. Внутри были четыре комнаты, из которых две занял Столыпин, одну Лермонтов, а четвертая была общая. Вид квартира имела более чем скромный. Низенькие комнатки с выбеленными дощатыми потолками и крашенными разноцветною краскою стенами были обставлены сборною мебелью разной обивки и дерева, по большей части окрашенного темной масляной краской. Впереди были два окна на площадь и палисадник, обнесенный деревянной решеткой. Из задних окон и с балкончика открывался великолепный вид: гирлянды садов и виноградных кустарников и силуэт всего Кавказского хребта на голубом чистом небе; справа виднелся стройный очерк Машука, слева — Бештау.

По соседству от дома, в котором поселился Лермонтов, находился дом бывшего наказного атамана всех кавказских казаков генерал-лейтенанта П.С. Верзилина. Имея дочь от первого брака, Аграфену Петровну, Верзилин женился на вдове полковника Марии Ивановне Клингенберг, имевшей дочь Эмилию Александровну. От этого брака родилась еще дочь, Надежда Петровна. Хлебосольный хозяин, радушная хозяйка и три красивые, веселые девушки привлекали в дом молодых людей. Веселье, смех, музыка и танцы часто слышались сквозь открытые окна гостеприимного дома. Сад его соприкасался с домом Чиляева, а рядом находился другой дом Верзилиных, в котором жили корнет М. Глебов и Н. С. Мартынов. Передний дом Чиляева занимал состоявший при ревизующем сенаторе Гане титулярный советник князь Александр Илларионович Васильчиков. Таким образом, Столыпин и Лермонтов находились в ближайшем соседстве с хорошими знакомыми и товарищами по школе гвардейских юнкеров. Через Глебова и Мартынова познакомились они с семьей Верзилиных. Менее часто бывал там князь Васильчиков, еще реже Столыпин. Из прочих постоянных посетителей назовем Л. С. Пушкина, брата поэта, весьма юного, еще недавно произведенного в офицеры Лисаневича, полковника Зельмица, поручика Раевского, юнкера Бенкендорфа, князя С. Трубецкого и др.

Понятно, что молодежь ухаживала за барышнями в доме Верзилиных, в особенности за Эмилией Александровной, которую все звали «розой Кавказа», и за младшей из сестер, Надеждой Петровной, главными поклонниками коей были Мартынов и Лисаневич. Старшая, Аграфена Петровна, была просватана за приставом трухменских народов Диковым, — ее и называли трухменской царицей. Лермонтов написал шуточное шестистишие, в котором изображает трех девушек и ухаживавшую за ними молодежь:

Пред девицей Emilie
Молодежь лежит в пыли,
У девицы же Nadine
Был поклонник не один;
А у Груши целый век
Был лишь дикий человек.

Предводителем всей этой молодежи был Лермонтов. Иногда его веселость и болтливость доходили до бешенства. Времяпрепровождение бывало полно детской незатейливости. «Бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо, —

рассказывает Эмилия Александровна, — потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра (Надя) просила его написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: пишите. Лермонтов посмотрел на Надежду Петровну… В этот день она была причесана небрежно, а на поясе у нее был небольшой кинжальчик. На это-то и намекал поэт, когда набросал ей экспромт:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежный
Над шейкою нежной,
На поясе нож —
C'est un vers qui cloche…»[8]

Эта веселая жизнь «лермонтовской банды», как называли молодежь, которою он руководил, возбуждала зависть в одних, неприязнь в других. Недавно приехавшие, малознакомые с Кавказом, особенно петербуржцы высшего общества, поражались отсутствием сдержанности в местном обществе, его незатейливым, полным провинциальной простоты и непринужденной, а подчас и необузданной веселости гуляньям, пикникам, кавалькадам, импровизированным балам и другим увеселениям. Они были вежливы, но держались вдалеке от кавказцев; удивлялись тем из своих товарищей, которые могли вести с ними постоянное общение, и в интимном кругу называли это «s'encanailler».[9] Лермонтов со своей стороны, ненавидя людей, занятых собою, платил им презрением, сердил их, острил над ними, выставляя их в смешном виде, и выводил их порою из себя своими школьническими выходками, переходившими иногда все границы.

Вообще день его резко разделялся на две половины. Утром он работал в своей комнате, при открытом окне, любя свежий воздух; в окно глядели из садика вишневые ветви, и, работая, поэт протягивал руку к вишням и лакомился ими. Но чем больше и серьезнее он работал, тем, по-видимому, чувствовал большую потребность чудить, дурачиться и совершать поступки, какие могут прийти в голову разве только 15-летнему мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял

всех без обеда.

Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать; но в разговоре, между прочим, сказал, что он едет из России и везет с собой бочонок свежепросольных огурцов, большой редкости на Кавказе; тогда Лермонтов предложил ему встретиться еще раз, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию, и на другой день, придя к нему, намекнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение, и покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель, Лермонтов, скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощанья от неумолимого чтеца-стихотворца.

Обедая в пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу: собирая столовые тарелки, ударом о голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина и тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье в горячую воду; тут она разом разлеталась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, эта шутка не могла продолжаться долго. Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невиновности прислуги и расплатился щедро за свою забаву.

Но этот весельчак и школьник по наружности скрывал в себе бездну мрака, разочарования и горького отчаяния. В то же время его неотступно преследовали тягота жизни и предчувствие близкой смерти.

На всех стихотворениях его последних лет, преисполненных трагического колорита, лежит печать этого предчувствия, которое он неоднократно высказывал своим друзьям. Так, товарищ его А. Меринский рассказывает в своих воспоминаниях, что 8 июля (за неделю до смерти Лермонтова) он встретился с ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа, — то грустил, то вдруг становился желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружающем. Между прочим, в разговоре он сказал: «Чувствую — мне очень мало осталось жить».

Под влиянием такого мрачного настроения духа в последнее время в Лермонтове еще в большей степени усилилась страсть издеваться над людьми и донимать их злым сарказмом. Представители петербургского бомонда в Пятигорске и примыкавшие к ним и тянувшиеся за знатью аристократствующие мещане, как мы сказали выше, наиболее возбуждали желчь поэта и служили мишенью для его острот и выходок. Это повело к тому, что все пятигорское общество разделилось на две партии. Когда

местные обыватели с «лермонтовскою бандою» во главе затевали какой-нибудь импровизированный бал под открытым небом, аристократы презрительно насмехались над затеей и не удостаивали ее своим участием; а затем, в пику неприличным «кавказцам», устраивали свой собственный вечер, стараясь затмить бал «кавказцев» роскошью и светским шиком, причем «кавказцы», конечно же, не приглашались.

Взаимный антагонизм между двумя партиями при таких условиях все более и более обострялся. Дошло дело до того, что Лермонтов со своими товарищами положительно не давал прохода представительницам неприятельского лагеря, осыпая последних, при встречах с ними на улицах, насмешками, шуточными прозвищами и т. п. Некоторые из влиятельных личностей этого лагеря, желая наказать *«несносного выскочку и задиру»,* ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный из терпения, *«проучит ядовитую гадину»,* как они выражались. Другие же, не ограничиваясь одним ожиданием, начали искать подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги. Так, узнав о насмешках Лермонтова над молодым Лисаневичем, одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, ему через некоторых услужливых лиц передали, что терпеть насмешки Лермонтова не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и, в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль — проучить. «Что вы, — возражал Лисаневич, — чтобы у меня поднялась рука на такого человека!»

Без сомнения, те же лица, которым не удалось подстрекнуть на недоброе дело Лисаневича, обратились к другому поклоннику Надежды Петровны, Н. С. Мартынову. Некогда это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста, всегда очень любезный, веселый, порядочно певший под фортепиано романсы и полный надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал дослужиться на Кавказе не иначе, как до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда был прикомандирован, и в 1841 году проживал в Пятигорске. Но в каком положении! Не получив генеральского чина, он был уже в отставке, всего лишь майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, ходил в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в

нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый. Нося форму Гребенского казачьего полка, Мартынов как находившийся в отставке делал разные вольные к ней добавления, меняя цвета и, прилаживая их согласно погоде, случаю или вкусу своему. По большей части он носил белую черкеску и черный бархатный или шелковый бешмет; или наоборот: черную черкеску и белый бешмет. В последнем случае — это бывало в дождливую погоду — он надевал черную папаху, вместо белой, в которой являлся на гулянье. Рукава черкески он обыкновенно засучивал, что придавало всей его фигуре смелый и вызывающий вид. Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением. Охотно напускал он на себя мрачный вид, щеголяя «модным байронизмом». Неудивительно, что Лермонтов, не выносивший фальши и заносчивости, при всем дружественном расположении к Мартынову нещадно преследовал его своими насмешками, эпиграммами и массою карикатур, которые помещались в альбоме, составлявшемся молодежью. Между прочим, он прозвал Мартынова, по поводу страсти его носить непомерно длинный кинжал, «Montagnard au grand poignard»,[10] и это прозвище особенно раздражало Мартынова.

При этих условиях враги Лермонтова нашли в Мартынове человека совершенно для себя подходящего. Самолюбивый и тщеславный неудачник и сам с каждым днем все более и более раздражался против беспощадного насмешника, которого в душе считал ниже себя и по «карьере», и по «салонным» талантам, а интриганы, без сомнения, еще более подливали масла в огонь, — и все, таким образом, вело к ужасной катастрофе.

В воскресенье, 13 июля, на журфиксе у Верзилиных собралось немного близких знакомых и обычных посетителей: полковник Зельмиц с дочерьми, Лермонтов, Мартынов, Трубецкой, Глебов, Васильчиков, Лев Пушкин и еще некоторые. В этот вечер Мартынов был особенно мрачен и танцевал мало. Лермонтов, на которого Эмилия Александровна сердилась за постоянное поддразнивание, приставал к ней, прося «сделать с ним хоть один тур». Только под конец вечера, когда он усилил свои настойчивые требования и, изменив тон насмешки, сказал: «M-lle Эмили, пожалуйста, только один тур, в последний раз в мою жизнь!», она с ним провальсировала. Затем Лермонтов усадил Эмилию Александровну около ломберного стола и сам поместился возле. С другой стороны занял место Лев Пушкин. «Оба они, — рассказывает Эмилия Александровна, — отличались злоязычием и принялись взапуски острить. Собственно обидно-злого в том, что они говорили, ничего не было, но я очень смеялась

неожиданным оборотам и анекдотическим рассказам, в которые вмешали и знакомых нам людей. Конечно, досталось больше всего „водяному обществу“, к нам мало расположенному; затронуты были и некоторые приятели наши. При этом Лермонтов, приподнимая одной рукой крышку ломберного стола, другой чертил мелом иллюстрации к своим рассказам». В это время танцы прекратились, и общество разбрелось группами по комнатам и углам залы. Князь Трубецкой сидел за роялем и играл что-то очень шумное. По другую сторону Надежда Петровна разговаривала с Мартыновым, который стоял в обыкновенном своем костюме — он и во время танцев не снял длинного своего кинжала — и часто переменял позы, из которых одна была изысканней другой. Лермонтов это заметил и, обратив внимание собеседников, стал что-то говорить по адресу Мартынова, а затем мелом, двумя-тремя штрихами, иллюстрировал позу Мартынова с большим его кинжалом на поясе. Но Мартынов, поймав два-три обращенных на него взгляда, подозрительно и сердито посмотрел на сидевших с Лермонтовым. «Перестаньте, Михаил Юрьевич! Вы видите — Мартынов сердится», — сказала Эмилия Александровна. Под шумные звуки фортепиано говорили не совсем тихо, а скорее сдержанным только голосом. На замечание Эмилии Александровны Лермонтов что-то отвечал улыбаясь, но в это время, как нарочно, Трубецкой, взяв сильный аккорд, оборвал свою игру. Слово «poignard»[11] отчетливо раздалось в устах Лермонтова. Мартынов побледнел, глаза сверкнули, губы задрожали; выпрямившись, он быстрыми шагами подошел к Лермонтову и, гневно сказав: «Сколько раз я просил вас оставить свои шутки, особенно в присутствии дам!», отошел на прежнее место. «Это совершилось так быстро, — заметила Эмилия Александровна, — что Лермонтов мог только опустить крышку ломберного стола, но ответить не успел. Меня поразил тон Мартынова и то, что он, бывший на *ты* с Лермонтовым, произнес слово *вы* с особенным ударением. „Язык мой, враг мой!“ — сказала я Михаилу Юрьевичу. „Ce n'est rien; demain nous serons bons amis!“,[12] — отвечал он спокойно».

Никто из прочих присутствовавших не заметил этого короткого объяснения. Скоро стали расходиться. Выходя из ворот дома, Мартынов остановил за рукав Лермонтова и, оставшись позади товарищей, сказал ему сдержанным голосом по-французски:

— Вы знаете, Лермонтов, что я очень долго выносил ваши шутки, продолжающиеся несмотря на неоднократное мое требование, чтобы вы их прекратили.

— Что же, ты обиделся? — спросил Лермонтов.

— Да, конечно, обиделся.

— Не хочешь ли требовать удовлетворения?

— Почему же нет?

Тут Лермонтов перебил его словами:

— Меня изумляют и твоя выходка, и твой тон… Впрочем, ты знаешь, вызовом меня испугать нельзя… хочешь драться — будем драться.

— Конечно, хочу, — отвечал Мартынов, — и потому разговор этот может считаться вызовом.

Подойдя к домам своим, они молча раскланялись и вошли в свои квартиры. Вернувшись домой, Мартынов обратился к своему сожителю Глебову и просил его быть секундантом. Глебов тщетно старался успокоить Мартынова и склонить к примирению. Особенное участие в деле принимали ближайшие к сторонам молодые люди: Столыпин, князь Васильчиков и Глебов. Так как Мартынов никаких предложений не принимал, то решили просить Лермонтова временно удалиться и дать Мартынову успокоиться. Лермонтов согласился уехать на двое суток в Железноводск. В отсутствие его друзья думали дело уладить.

Но попытки их не увенчались успехом. Подстрекаемый ли другими или из личного упрямства, Мартынов не уступал. Его тешила роль непреклонного; он даже повеселел и не раз подсмеивался над «путешествующим противником своим». Пришлось предоставить дуэли осуществиться. Но все же никто из участвующих не верил в ее серьезность, в убеждении, что противники, обменявшись выстрелами, помирятся, и все закончится веселою пирушкой. Сам Лермонтов говорил, что у него рука не поднимется на Мартынова и что он выстрелит в воздух.

15 июля было назначено днем для поединка. Дали знать Лермонтову в Железноводске. Ему приходилось ехать через немецкую колонию Каррас. Там должны были встретить его товарищи. Местом же дуэли выбрали подножие Машука на половине дороги между колонией и Пятигорском. Некоторые надеялись, что в Каррасе удастся помирить противников. Поэтому Лермонтов должен был там обедать; привезли туда и Мартынова. Противники раскланялись, но вместо слов примирения Мартынов напомнил о том, что пора бы дать ему удовлетворение, на что Лермонтов выразил всегдашнюю свою готовность. Около шести часов прибыли на место поединка. Оставив лошадей у проводника, Лермонтов со своими секундантами (секундантами были Столыпин, Глебов, Трубецкой и Васильчиков, но с которой из сторон кто из них был, осталось невыясненным) пошел вверх, к полянке между двумя кустами. Мартынов был уже там. Докторов

не было, так как дуэли не придавали серьезного значения, не было даже приготовлено экипажа на случай, если кто-нибудь будет ранен.

Мартынов стоял мрачный, со злым выражением лица. Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах его показалась презрительная усмешка. Кто-то из секундантов воткнул в землю шашку, сказав: «Вот барьер». Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил пространство. «Я помню, — говорил князь Васильчиков, — как он ногою отбросил шапку, и она откатилась еще на некоторое расстояние. От крайних пунктов барьера Столыпин отмерил еще по 10 шагов, и противников развели по краям. Заряженные в это время пистолеты были вручены им. Они должны были сходиться по команде: „Сходись!“ Особенного права на первый выстрел по условию никому не было дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте или подойдя к барьеру, или на ходу, но непременно между командами: *два* и *три*. Противников поставили на скате, около двух кустов: Лермонтова лицом к Бештау, следовательно, выше; Мартынова ниже, лицом к Машуку. Лермонтову приходилось целить вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое преимущество. Командовал Глебов… „Сходись!“ — крикнул он. Мартынов пошел быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх и, помня наставления Столыпина, заслонился рукой и локтем, „по всем правилам опытного дуэлиста“». «В эту минуту, — пишет князь Васильчиков, — я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета». Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета. «Раз… Два… Три!» — командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. «Я отлично помню, — рассказывал далее князь Васильчиков, — как Мартынов повернул пистолет курком в сторону, что он называл „стрелять по-французски!“ В это время Столыпин крикнул: „Стреляйте! или я разведу вас!“… Выстрел раздался, и Лермонтов упал как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушибленные или раненые.

Мы подбежали… В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь… Неразряженный пистолет оставался в руке…

…Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте,

разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу»…

Друзья обступили поэта, далекие еще от сознания, что Лермонтова уже не стало. Мартынов тотчас после выстрела бросился к упавшему с криком испуга и сожаления: «Миша, прости меня!..» Затем он поехал в Пятигорск доложить о случившемся коменданту и отдать себя в руки правосудия.

Глебов сел на землю и положил голову поэта себе на колени. Тело быстро холодело. Васильчиков поехал за доктором, но он никого не успел уговорить ехать на место поединка из-за страшной грозы и ливня, продолжавших бушевать. Дороги все размокли. С большим усилием и за большие деньги удалось Столыпину достать экипаж для перевозки тела в город. До одиннадцати часов вечера пролежало оно под проливным дождем, покрытое шинелью Глебова и покоясь головою на его коленях. Когда Глебов хотел спустить голову, чтобы поправиться, из раскрытых уст Лермонтова вырвался не то вздох, не то стон. Друзья подумали, что он был еще жив, но лишь спертый воздух вышел из груди. Наконец в одиннадцать часов дроги прибыли, и тело повезли в город.

Между тем добряк комендант Ильяшенко, узнав о катастрофе, бегал по комнате и, схватившись за голову, плакал: «Мальчишки, мальчишки, что вы со мною сделали!» Мартынов тотчас был арестован. Растерянный комендант, еще не зная, убит или ранен Лермонтов, приказал, чтобы, как только привезут, его поместили на гауптвахту. Той порой тело прибыло в Пятигорск. Разумеется, на гауптвахту его сдать нельзя было, и, постояв перед нею несколько минут, пока выяснилось, что Лермонтов мертв, его повезли дальше. Кто-то именем коменданта опять-таки остановил поезд перед церковью, сообщив, что домой его везти нельзя. Опять замедление. Наконец смоченный кровью и омытый дождем труп был привезен на квартиру и положен на диван в столовую. Глебов раньше, потом Васильчиков были арестованы и под конвоем проведены к месту заключения. Было за полночь, когда прибыла наконец давно ненужная медицинская помощь.

Бледный, с улыбкой презрения на устах, в канаусовой рубашке, смоченной кровью, лежал поэт на диване в столовой. Вокруг ходила молодежь, растерявшаяся и пораженная.

Весть быстро разнеслась по городу, и еще вечером приходили приятели и знакомые в квартиру Лермонтова.

На другое утро тело было обмыто. Окостенелые члены трудно было распрямить; сведенных же рук расправить так и не удалось, и их покрыли простыней. В чистой белой рубашке лежал поэт на постели в небольшой комнате. Художник Шведе снимал с него

портрет масляными красками.

Начались обычные хлопоты о погребении. Ординарный врач пятигорского военного госпиталя Барклай-де-Толли выдал свидетельство, в коем говорилось, что «Тенгинского пехотного полка поручик М. Ю. Лермонтов застрелен на поле, близ горы Машук, 15 числа сего месяца, и, по освидетельствовании им, тело может быть предано земле по христианскому обряду». Но протоиерей Павел Александровский не решался этого сделать. Несколько влиятельных личностей, враждебных поэту, старались повлиять и на коменданта, и на отца-протоиерея в смысле отказа как в отдании последних почестей, так и в христианском погребении праху *ядовитого покойника,* как один из них выразился об умершем. Они говорили, что убитый на дуэли — тот же самоубийца и что на похороны самоубийцы по обряду христианскому едва ли взглянет начальство снисходительно.

Против этих интриг стали действовать друзья поэта. Они уговаривали протоиерея, представляли ему значительность связей бабки покойного и друзей его, обещали богатое вознаграждение. Но он колебался. Напрасно говорили ему, что князь Васильчиков честью ручается, что отец Павел за исполнение обряда отвечать не будет. Тщетно обращались к содействию жены его, стараясь задобрить и ее. Напуганная, она говорила батюшке: «Не забывай, что у тебя семейство».

Ильяшенко, на которого напирали с двух противоположных сторон, сам не знал, как поступить, и не решался категорически разрешить протоиерею предать убитого земле по церковному обряду. На счастье, в это самое время приехал в Пятигорск начальник штаба полковник Траскин, который один только своим авторитетом мог подействовать на протоиерея. Похороны поэта состоялись 17 июля около шести часов вечера. Воинские почести разрешены не были, и гроб был донесен до пятигорского кладбища на плечах товарищей. Весь Пятигорск участвовал в похоронах. Были представители всех полков, в которых служил Лермонтов. Мартынов просил проститься с покойным, но ему этого не позволили ввиду раздражения против него. Плац-майору Унтилову приходилось еще накануне несколько раз выходить из квартиры Лермонтова к собравшимся на дворе и на улице, успокаивать и говорить, что это не убийство, а честный поединок. Были горячие головы, которые выражали желание мстить за убийство и вызвать Мартынова. Возбуждение вызвало затем и усиленную высылку молодежи из Пятигорска по распоряжению Траскина.

3 января 1842 года состоялось по делу о смертельной дуэли Лермонтова Высочайшее повеление: «Майора Мартынова

посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжкой раны».

В январе же последовало Высочайшее соизволение на перевоз тела поэта из Пятигорска в пензенское имение Арсеньевой, село Тарханы, для погребения на фамильном кладбище.

Бабушке долго не решались сообщить о смерти внука. Узнав о ней, она, несмотря на все предосторожности и приготовления, перенесла апоплексический удар, от которого медленно оправилась. Веки глаз ее, впрочем, уже не поднимались. От слез они закрылись. Все вещи, все сочинения внука, тетради, платья, игрушки — все, что старушка берегла, — все она раздала, будучи не в состоянии терпеть около себя что-либо, до чего касался поэт. Скончалась она в 1845 году.

Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Богатый человек, он занимал отличную квартиру в одном из флигелей лавры. Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих как своею особою, так и прекрасною спутницею. Все рассказы о его тоске и молитвах, о «ежегодном» посещении могилы поэта в Тарханах — изобретения приятелей и защитников. В Тарханах на могиле Лермонтова Мартынов был всего один раз проездом.

Тело Михаила Юрьевича было вырыто из кавказской земли, а затем привезено в Тарханы 21 апреля 1842 года. Через два дня оно было положено в землю родимого села рядом с прахом матери.

ГЛАВА XIV

Общая характеристика Лермонтова как человека и поэта.

На первый взгляд Лермонтов, по сравнению со всеми прочими русскими писателями, жившими в его время и после, производит странное впечатление чего-то совершенно изолированного, стоящего вне звеньев неразрывной цепи постепенного развития и усовершенствования русской литературы. Когда говорят об этом развитии, то вспоминают обыкновенно, как Жуковский и Батюшков взамен отжившего псевдоклассицизма насаждали у нас романтизм; как затем Пушкин, начав свою литературную деятельность на почве романтизма, к концу ее постепенно перевел русскую литературу на реальную почву; и прямым его продолжателем, утвердителем литературы на этой самой реальной почве является Гоголь. Лермонтов же остается как бы совершенно в стороне от этой преемственности. Он представляется словно каким-то непредвиденным метеором, внезапно пронесшейся по небу яркою звездой, неизвестно откуда взявшейся и исчезнувшей без следа. Можно подумать, что правильный ход развития литературы нимало не изменился бы, не потерпел бы, если бы Лермонтова совсем не было. Кажется даже, как будто Лермонтов в своей литературной деятельности сделал шаг назад, так как в то самое время, как Гоголь продолжал работу Пушкина на почве реализма и устремлял литературу к плодотворному труду изображения обыденной жизни, Лермонтов снова воскресил романтические эффекты и байронизм, от которого Пушкин успел отрешиться уже в половине двадцатых годов.

Если же заводят речь о ходе развития различных идей в обществе, философских, политических и т. п., то Лермонтов тем более остается в стороне, о нем совсем и не упоминают при этом, потому что какие же идеи выражал Лермонтов в своих произведениях, к какому лагерю принадлежал, какое учение проповедовал? Не был он ни славянофилом, ни западником, ни либералом, ни консерватором, ни прогрессистом, ни обскурантом.

Вследствие всего этого у большинства русских людей, не исключая и самых горячих поклонников его поэзии, мы видим крайне смутное представление о роли и значении Лермонтова в русской литературе, равно и о преобладающем характере его произведений. Берут обыкновенно один какой-нибудь элемент его

поэзии и этим элементом исключительно определяют ее всю, представляя таким образом любимого поэта в крайне одностороннем виде и упорно закрывая глаза на все прочие элементы. Одни, например, видят в Лермонтове только подражателя Байрона и делают ему большую честь, когда находят, что байронизм, пересаживаемый поэтом на русскую почву, во всяком случае является байронизмом самобытным, видоизмененным сообразно особенностям русской натуры и жизни. Другие, принимая во внимание обстоятельства судьбы его, стихотворение на смерть Пушкина и некоторые другие стихотворения и поэмы, готовы видеть в нем первого отважного протестанта против стесненных условий общественной жизни. Третьи, наконец, на первый план ставят разочарование поэта во всем земном, его ощущение тягости земной, телесной жизни и постоянные порывания к небесному, — тоску бессмертного духа, рвущегося в бесконечный простор и вечное сияние потерянного рая.

В каждом из этих суждений вы найдете свою долю правды, но каждое из них в равной степени страдает односторонностью и далеко не обнимает всех сложных элементов музы Лермонтова. Вся загадка понимания Лермонтова во всем его объеме и со всеми его особенностями заключается в том, что по самой натуре своей это был вполне гениальный человек. Гениальные же люди прежде всего отличаются от обыкновенных смертных тем, что они никогда не бывают и не могут быть односторонними; в этом и заключается сущность всякой гениальности, в то время как всякая односторонность есть по самому существу своему ограниченность и, следовательно, нечто исключающее гениальность.

Гениальная личность прежде всего совмещает в себе не только положительные, доблестные элементы современности, но и ее недостатки и пороки. Обладая громадными запасами сил, гениальные люди спешат взять от современной им жизни все, что в ней заключается, всем, что в ней есть, насладиться и всем перестрадать. Но этим не ограничивается еще их гениальность: будучи вполне детьми своего века, разделяя с современниками своими все их положительные и отрицательные качества, они выделяются среди них, возвышаются над ними, уходя от всего относительного, преходящего, принадлежащего данному веку и составляющего злобу дня в область необъятного, безотносительного, общенародного или общественного, делающего их творения достоянием многих веков или многих народов, смотря по степени их гениальности и общечеловечности.

Все это мы замечаем у Лермонтова. Так, прежде всего он поражал всех своих друзей и знакомых соединением самых, по-

видимому, непримиримо противоречащих друг другу качеств. Человек, внешне глубоко разочарованный, не верящий в земное счастье, томящийся, не находящий места на земле и жаждущий смерти как избавления от «пустой и глупой шутки», называемой жизнью, — Лермонтов в то же время беззаветно наслаждался всеми благами жизни, как эллин эпохи Перикла, и вся жизнь его представляла собою веселый праздник светского бонвивана.

Человек, с презрением смотревший на бессмысленную, пошлую и пустую суету большого света, готовый «дерзко бросить в глаза всем его представителям железный стих, облитый горечью и злостью», он одновременно употреблял недостойные его уловки, чтобы быть в этом самом свете замеченным, принятым и иметь в нем успех. В одно и то же время одних и тех же людей он поражал невыносимостью своего заносчивого высокомерия и дерзкой насмешливости, доходившей до страсти к мучительству ближних, неспособных «отгрызаться», и вместе с тем теплым, отзывчивым сердцем, жаждущим любви и ласки и способным всецело отдаваться; трагические предчувствия близкой смерти не мешали ему предаваться ребяческому школьничеству.

В этих противоречиях он был вполне человеком своего века, будучи преисполнен того нравственного разлада и раздвоения, которые были присущи всем людям того времени, завися от полной противоположности унаследованных на почве крепостного права барских привычек с новыми, европейскими идеями гуманности и братства, гнетущих общественных условий с романическими порывами к свободе и гордой независимости. Различие между ним и прочими людьми его века заключалось лишь в том, что в то время, как последние уживались и мирились путем различных компромиссов и с общественными условиями, и со своим собственным душевным разладом, Лермонтов не мог помириться ни с тем, ни с другим. Стремясь ничего не упустить, что представлялось ему в жизни в каком бы то ни было отношении заманчивым, все пережить, всем насладиться, он в то же время ни в чем не мог найти полного удовлетворения, примирения ни с людьми, ни с жизнью, ни с самим собою. Он тотчас же постигал тщету и суету всего, к чему жадно стремился, его возмущала пошлость и рабская низость окружавших его людей; душа его влеклась от всего этого в какой-то таинственный мир великого и необъятного. Отсюда и проистекала его страсть к величественной природе Кавказа и в непосредственно-свободной и независимой жизни воинственных и полудиких горцев, не успевших еще развратиться тлетворною цивилизацией; отсюда, наконец, и все его порывы от преходящего и тленного, земного — к вечному, небесному.

Каков он был в жизни, таков был он и в своей поэзии, до такой степени субъективной, что вы не найдете у него ни одного мелкого или крупного произведения, которое не относилось бы так или иначе к личности и жизни поэта.

Здесь опять-таки нам прежде всего бросается в глаза один из несомненных признаков гениальности поэта. Невольно поражает нас полное отсутствие в развитии поэтического дара Лермонтова каких-либо периодов и переходов. С первых же детских проявлений своего творчества Лермонтов сразу является перед нами тем самым, каким был он в продолжение всей своей поэтической деятельности, с тем же характером поэзии, мотивами, образами, чувствами. Развитие таланта его заключалось лишь в более художественном выражении того содержания его поэзии, какое ему было словно внушено сразу, от рождения.

В поэзии Лермонтова мы видим ту же присущую всем гениальным людям двойственность, какую наблюдаем и в жизни его. Здесь он также является прежде всего поэтом своего века, идущим в своем умственном развитии рука об руку со всеми своими лучшими современниками. Так, несмотря на то, что он не принадлежал к кружку Станкевича и не был знаком с членами его, вы замечаете у него то же романтическое прекраснодушие, что и у Белинского, то же увлечение Шиллером, Гете, Шекспиром и Байроном — одним словом, то же пристрастие к тевтонской музе, соединенное с галлофобией, сказавшейся в «Последнем новоселье» и некоторых других стихотворениях, в которых Лермонтов смотрит на французов как «на жалкий и пустой народ».

Разделяя вместе с современниками муки безысходных противоречий и непримиримой раздвоенности, Лермонтов выразил эти муки в ряде стихотворений, преисполненных горьких сетований, причем наиболее выдающимся стихотворением в этом роде является, конечно, знаменитая «Дума» («Печально я гляжу…»). То же раздвоение выражено им и в ряде типов современных героев, вроде Арбенина и Печорина, в которых под байроновской оболочкой очень легко разглядеть все нравственные недуги русских передовых людей 30-х годов.

Вообще Лермонтова можно вполне назвать представителем тридцатых годов, чем он и отличался от Пушкина, который, в свою очередь, всецело является поэтом 20-х годов.

В самом деле, несмотря на то, что произведения Пушкина, написанные в течение тридцатых годов, отличаются наибольшей зрелостью и совершенством, он все-таки по многим чертам своего характера остается человеком двадцатых годов, одним из

уцелевших обломков разбитого корабля. Способность Пушкина примиряться с жизнью, наклонность к олимпийски объективному, благодушно-оптимистическому созерцанию обусловливаются, конечно, тем, что Пушкин был воспитан в более мягких условиях начала нынешнего столетия. Совершенно не таковы были условия, под гнетом которых вырос Лермонтов. Этим объясняется в значительной степени тот пессимизм, которым преисполнена поэзия Лермонтова. Лермонтов никогда не был политическим поэтом и выразителем каких-либо сознательных и предвзятых тенденций. Тем не менее, в каждом стихотворении его слышатся слезы тяжкой обиды, глубоко затаенного и тем более мучительного оскорбления. И еще бы: чего стоило вынести одну смерть Пушкина! и что же такое были стихи Лермонтова на смерть Пушкина, как не горький, отчаянный крик, который не мог не отозваться в сердце каждого интеллигентного человека того времени. Отсутствие сознательной и предвзятой тенденциозности в Лермонтове придавало тем более цены ему в глазах современников, что они видели в нем протестанта не по каким-либо внушенным учениям, а по самой своей природе. Разъедающие слезы, какими преисполнены стихотворения Лермонтова, являлись совершенно естественными, непроизвольными; в них слышалось нечто стихийное; представлялась чаша страданий, которая выливалась через край именно потому, что была переполнена, а не потому, что кто-то нарочно наклонял ее набок.

Но будучи, таким образом, поэтом своего века, Лермонтов в то же время оставил далеко позади всех своих современников, так как поэзия его заключала в себе такие народные черты, которые присущи не тому или другому веку или десятилетию, а составляют один из общих элементов русского духа. Замечательно, что еще пятнадцатилетним мальчиком, в годы наибольшего подчинения Байрону, Лермонтов уже чувствовал и сознавал, что он не Байрон и что душа у него чисто русская. И действительно, восприняв от Байрона английский пессимизм, Лермонтов придал ему совершенно русский, народный характер; превратил в тот своеобразный пессимизм, который скрывается глубоко в недрах русской натуры и был ей присущ во все исторические времена.

Вы не найдете у Лермонтова и следа того разъедающего скептицизма, который составлял суть миросозерцания британского поэта, воспитанного на философии XVIII века; ни той холодной, ледяной иронии, которая является народною чертою английского племени и которую можно обнаружить и у Шекспира, и у Свифта; ни, наконец, той пресыщенности или

нравственного изнеможения, какие были свойственны Европе в эпоху Реставрации, после потрясающих событий конца прошлого и начала нынешнего столетия.

Вместо всего этого поражает в поэзии Лермонтова то забубенное презрение к жизни, то удалое равнодушие к ней, которое заставляет русского человека восклицать: «Все на свете трын-трава и жизнь не стоит выеденного яйца!» и очертя голову бросаться в пропасть без всякой уважительной цели, из одного молодечества. В то же время вся поэзия Лермонтова проникнута тою глубокою безысходною тоскою и вместе с тем беспечною удалью и могучим, отважным порывом на какой-то безграничный и безбрежный простор, какие слышны в каждой народной русской песне. Очевидно, в будущем Лермонтов мог стать не только поэтом русской интеллигенции 30-х годов, но и великим общенародным певцом. К сожалению, он умер в такую пору, когда его молодой гений только что расправлял свои могучие крылья и сбылись пророческие слова пятнадцатилетнего мальчика:

Я рано начал, кончу рано,
Мой ум не много совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

notes

Примечания

1

Вы Жан, Вы Жак, вы рыжий, вы глупый и все же не Жан-Жак Руссо (фр.)

2

Находящихся на своем или не на казенном содержании (Словарь В. Даля)

3

честь обязывает (фр.)

высшее дворянство (фр.)

5

стеснять

6

«У качающейся березы» (фр.)

7

Должностное лицо военного ведомства, занимающееся приобретением лошадей для войсковых частей

8

Вот стих, который хромает (фр.)

9

Якшаться со всяким сбродом (фр.)

10

«Горец с большим кинжалом» (фр.)

11

кинжал *(фр.)*

12

Это ничего; завтра мы будем добрыми друзьями (фр.)